

В погоне за махаоном



Иоланта
Сержантова

2024

Иоланта Ариковна Сержантова

В погоне за махаоном

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70219858

SelfPub; 2024

ISBN 978-5-00207-441-9

Аннотация

Рассказы, новеллы и эссе о природе России, о детстве и воспоминаниях людей, живущих свою недолгую жизнь долгой жизнью Родины, вне которой не смогут почувствовать себя людьми. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно. Рекомендуется для внеклассного чтения.

Содержание

В помощь садовнику	6
Без лишних слов...	8
Набело	11
В продолжение...	13
Почтальон	15
Как-то так...	19
Маков день	22
Пятнадцать соток	26
Кашка	30
Без конца...	33
На свидание с осенью...	35
Меньшее из зол	37
А зря...	40
В погоне за махаоном	42
Мать в законе	44
Такое счастье...	47
Скучно	50
Добро пожаловать	53
Гроза и детки	56
Ну, а потом...	58
Чужая жизнь	60
Как в жизни	63
Никого, дороже тебя...	65

Обычное летнее утро	69
Что поделатъ...	71
То таял день...	74
Безмятежное	76
Летняя сказочка	78
По-настоящему...	80
Повод...	83
Кастет	85
По течению реки	91
Не самое худшее из зол...	93
Французская булка	95
Наяву	97
Детский сад	100
Времена года	106
Калитка	108
В духе фантазии...	110
Суета	114
Родня	117
Подражательство	119
Об этом не говорят...	121
Ни больше ни меньше	123
После дождя	126
Больше ничего	128
Почтовая марка осени	130
В конце лета	133
Королева	135

Нежданный друг	139
Тагетес	141
Последний вечер лета	145
В неумелых руках	148
Чёрное	151
Так и живём...	153

Иоланта Сержантова

В погоне за махаоном

В помощь садовнику

В помощь садовнику, улитки штукатурили и покрывали перламутровым лаком столбы беседок. Со старанием, достойным всяческого применения, они не сторонились даже углов, и, рискуя упасть на землю, с безусловной дерзостью, или более того – лихостью знающего толк в своём деле, охватывали самый излом ладошкой и проходили его весь, снизу доверху, не пропуская ни дюйма.

Осы – те тоже не остались в стороне, и украшали бомбошками своих гнёзд все, какие ни на есть поручни. Впрочем, зная нрав и строгость садовника, делали это не на виду, а как бы исподволь, в таких местах, где в равной мере не мешает быть красоте и она не покажется помехой никому.

Пауки плели невесомые гамаки с навесами понавдоль заборов, привнеся в общее дело нимало расстройства, но более утончённости, скрадывая под сквозными шёлковыми туниками неровности выбеленных солнцем досок и заусеницы, на которых бабочки обыкновенно переводили дух между неж-

ными, но страстными своими танцами. Ну – то ничего, бабочки с мотыльками на подъём в наивысшей степени легки, отыщут себе иное местечко, украсят его собой. Тем паче – такой красоты не погонит никто ниоткуда, кроме, разве, – от яркого крыла свечи, а что до кота, – тот, изленившийся до крайности, скорее глянет осоловело, и больше ничего.

В помощь садовнику и дождь, что польёт обильно, и ветер, что сметёт опавшую наземь листву под кусты дикой розы... Хорошо быть садовником, однако... Ох, как хорошо.

Без лишних слов...

Сытный, ноздреватый, испечённый до золотой корочки, ржаной мясца был подан к столу ночи, да только едоков-то об эту пору на раз или того меньше. Чёрный слизень с выцветшей до коричневого цвета полосой на спинке, будто приправленный самой корицей, медленно, вдумчиво переходил хоженую нечасто тропинку, густо и часто заросшую крапивой. Будь слизень менее близорук, он был бы поражён ростом и статью сей задиристой травы и её скромной близняшки, что точь в точь, как сестра, да слывёт волшебной¹, от того ли, что не жётся, либо ещё отчего, – про то в веках по семь раз затерялось и нашлось, правды уже не узнать.

Лис темный от старости и причиненной ею худобы, вытянувшись в струнку над дорогой, с явной напругой одолевал её на смятых артрите лапах. Зверь посмотрел в мою сторону, скривившись от боли по-человечьи, прямо так, не таясь дал понять, что не только люди пытаемы недугами. При этом лис как-то жалостливо оборачивался в сторону зарослей крапивы, из которых вышел. Лису было жаль леса, но отчего, было не понять.

¹ лат. *Lamium*, данный вид крапивы не жётся

Мы с товарищем прогуливались неподалёку, и я окликнул лиса:

– Эй! Ты чего? Нездоров?

Лис остановился, коснулся взглядом моего спутника... Он счёл бы за лучшее не показываться на глаза никому, кроме меня, но порешив, что в нём осталась ещё малая толика доверия к людям, остановился и кивнул. Из-за спокойствия и обречённости, коими был преисполнен тот кивок, вовсе, не напоказ лишённый уверенности в добром исходе, сердце моё сжалось несогласно, и я напомнил бедолаге:

– Ты знаешь, где всегда можешь подкрепить свои силы.

– А дух? – Усмехнулся горестно лис.

Я не стал лгать и промолчал, чем явно позабавил лиса, который немного взбодрился, так что даже пообещал:

– Вечером, похоже, зайду.

– Буду ждать. – Сквозь слёзы улыбнулся я.

Прислушиваясь к нашему разговору, часто и дурно поминаемый хрен сокрушённо качал широкими листьями, как головой, во всём соглашаясь с ветром, что, не тратя времени на изъявления готовности помочь, просто взял, и проводил лиса через дорогу до норы.

Что стоят наши посулы, в сравнении поддержкой друга, что не навязывает своего общества, но коли нужен, всегда

оказывается рядом? Ничего. Ровным счётом.

Набело

Первым про осень вспомнил папоротник. Позолотил листочки, как плутовские ладошки. Стоят теперь, шуршат, да позванивают. Только первый не значит лучший, это как скорый на расправу, что больше не прав, чем наоборот.

– Небо чёрное почти.

– Неужто мыслей чернее или наполненной ненавистью души?

– Пожалуй, что нет.

Понуждая не помнить про лето, ветер дует в спину дождю, что обидчив, по-обыкновению всех на свете дождей, и делается он подстать зайцу, чей позабытый в траве след размыт почти. Чьей только нет в том вины, лучше и не думать.

От пирога лета и так уж отрезано порядком, и хотя чуть меньше половины, да сыра она, недопечёна, горька не от горечи, но от скудости сладких ягод, запас коих в этот раз иссяк.

– Странный год... Вдругорядь без вареньев.

– Так не одна вишня с малиной в саду, есть и другие!

– Те, которые ваши «другие» – не всякому по вкусу!

– Вы это про калину, по всему судя?!

– Про неё. Касторкой разит от той ягоды! Порошками аптечными!

– Здоровьем, друг мой! А к горечи привыкнуть надо, в ней своя прелесть.

– И какая ж это прелесть,, скажите на милость, по доброй воле в рот, вместо сладости, горечь класть?

– Так коли распробовать её хорошенько, то жизнь ещё слаще покажется! От одного этого не стоит пренебрегать ею. Ну и по другим статьям она хороша. Впрочем... кому я толкую...

Дождь почёркал летние дни наискось: «Не так!, «Неверно!», «Не годится!»... Так и тянет спросить : «А ...переписать?!» Вдруг то, перед тем, было начерно?! Только вот, – не начать заново. Не то лета, но ни дня, ни мгновения. Всё набело, на одном дыхании, с листа.

В продолжение...

Жизнь ... с листа. Несколько знакомых нот, из которых составлены все аккорды бытия. Нотный стан обстоятельств, которые из века в век одни: рождение, недолгое, безотчётное восхищение жизнью, предчувствие наступления некого великого чуда, сумрак разочарований, среди которых познанное однажды, как озарение, понимание конечности всего округ и непостижимости сего обстоятельства.

А далее – привычная бравада чёрного юмора на людях и омут тоски наедине с собой, приучение себя к мысли, что «все там будем» и ожидание этого часа, кой отсрочивается разным манером, от пристрастия к горячительному до игры на пианино, – любому производимому, как в горячке, и не делу даже, но действию. Кому что ближе, тот тем и занят, – только бы не думать, лишь бы не помнить, не дай Бог узнать.

Но что случится и когда какой сигнал подаст судьба, в самом деле, не ведаёт никто, даже тот, кто думает, что сведущ в этой жизни во всём.

Впрочем, бывает, дают иногда понять, избранным, – в назидание или дабы успели закончить добром незавершённое, – у всякого на то суждение своё.

И пусть бы оно так, но как-то горько, обидно за нас! Это, как понавдоль берега реки, сопровождающее бытие, наивное

ожидание некоего чуда. Разве можно не заметить, не понять, что вот оно, необыкновенное, уже произошло? И свет виден тебе, и холодок затиня² бросает в дрожь. А соль высохших слёз, испарины или морской волны на коже... она есть?! Тонкая, нежная, как иней, обметавший губы чертополоха осенним рассветом... Ну, так чего же тебе ещё, человек?!

Жизнь всегда с чистого листа. От того-то мы рады любому её началу, – белесому ростку; младенцу, в улыбке приоткрывшему беззубый рот; щенку, заснувшему с каплей молока на подбородке. Только невозможно³ таить в себе ту радость, но стоит растравливать её, будто рану, чтобы не заметить, пропустить мимо сердца тот миг, в который однажды сказанные и некогда написанные тобой слова, падут семенами в землю.

– Чтобы прорасти и быть вновь?!

– Как знать, как знать...

² тень

³ нельзя, негля, нельга

Почтальон

Мне нравилось зазывать нашего почтальона в квартиру. Особенно в летние каникулы, когда соседская детвора веселилась в деревне у бабушки, удила рыбу, купалась, полола огурцы и грызла морковку, прямо так, выдрав её из земли и отерев о штанину. Вся моя родня давно уж перебралась в город, так что ехать было не к кому, заняться, кроме чтения, нечем.

Загнав веником клубы пыли под кровать, бледный, с головной болью томился я в комнате, читая всё без разбору и закусывая, запивая хлеб холодным, бордовым до черноты, сладким чаем. Когда от буханки оставались лишь крошки, я вспоминал о чесноке, и ел его без ничего, просто макая в соль. Было горько, но съедобно вполне. Из дому я выходил только для того, чтобы купить наказанное матерью или совершить очередной набег на библиотеку.

Почтальон, что разносила почту по нашей улице, была крупной, грузной женщиной. Такими в книжках советской поры обычно рисовали доярок. Ремень коричневой сумки, которую распирало от обилия газет, журналов и писем, оттягивал её плечо. Привычная к тяжёлой работе, женщина обыкновенно шла вразвалочку, с вросшим в лицо выраже-

нием страдания, отчего её делалось неизменно жаль. Хотелось перенять сумку, зазвать в кухню, усадить на табурет и напоить чаем.

Иногда мне удавалось сделать это. Едва на двери квартиры хлопала крышка почтового ящика, я выглядывал в коридор:

– Здравствуйте! Передохните немного! Вижу, что вы устали! Зайдите хоть ненадолго!

Женщина всякий раз недоумённо поднимала на меня глаза, она была довольно невысокой, – и принималась неумело отказываться. Хорошего ей, видно, в жизни предлагали мало, а поработать, помочь, услужить, – привычки не соглашаться у неё не было.

Осторожно угнездившись на табурете, будто бы он был сделан из яичной скорлупы, женщина ставила на пол подле себя сумку и замирала, едва позволяя себе вздохнуть.

– Вам покрепче или пожиже? – Интересовался я, наливая заварку в красивую фарфоровую чашку.

– Да я из кружки... водички... – Тихо и испуганно отзывалась женщина, но я настаивал, и клал вволю сахару, не спросясь. Покуда она, заметно стесняясь, пила маленькими глотками чай, я, дабы не быть помехой госте, отходил к окош-

ку, и возвращался лишь заслышав, как дно опустевшей чашки касается стола, осторожно и беззвучно почти. Так листья трогают землю осенней порой.

Розовая от чаю, женщина немного сдвигала свой платок к темечку, и принималась рассказывать, каково оно жилось в деревне. Она и вправду некогда была дояркой, да сын выписал её в город, помогать. И теперь она едва уживается со снохой, но вернуться в деревню не может, так как дом давно продан, а деньги отданы сыну.

– Встанешь зимою затемно на первую дойку, оденешься потеплее и идёшь. Дороги не видно, да ноги-то сами знают, куда им идти. А ты по сторонам шуришься, улыбаешься метели, снегу, уснувшей подо льдом реке...

– Страшно, небось, да и спать хочется?

– Про спать – оно привычные мы, а страха – то нет. Откуда? Всё ж округ знакомо сизмыльства. Ещё с мамкой в коровник ходили. Кажись, глаза зажмурь, и то не заплутаешь! А как придёшь, коровы-то мурчат, тёплые, ласковые...

– Мурчат? – Попытался исправить я.

– Ну, то кому как, а по нам – мурчат... – Мечтательно улыбалась женщина.

...После я глядел через окошко, следил за почтальоншей, что, переваливаясь утицей, идёт к соседнему дому, и пред-

ставлял, как по зиме она отворяет дверь в коровник, и её обдаёт тёплым запахом навоза, молока, сена и коровы мурчат ей навстречу, помахивая тонкими хвостами, украшенными репейником, будто спрятанным, нарочно позабытым там летом.

Вечером, когда мать возвращалась с работы, то заметив вторую чашку на столе, принималась кричать. Она твердила о чужих людях в её отсутствие и незваных гостях, но почтальон была для меня своей и званной, ведь откуда б ещё мне были ведомы прелести деревенской жизни, как не от неё! Впрочем, казалось, матери того не объяснить, из-за чего я принимался перечить ей, и горько плакал потом. Не понимал я тогда об истинной причине своих слёз, лишь догадывался о ней, а то бы рыдал куда как громче и горше...

Как-то так...

Она так обыденно рассуждала о скорой кончине свекрови, что если бы не то обстоятельство, что и именно она годами ухаживала за ней, беспомощной, распластанной на утомившем её ложе, то это могло бы вызвать праведный гнев визави. Но не вызывал.

Перечисляя страшные признаки, она не смаковала их, не упивалась ими, но по въевшейся в сознание учительской привычке, лишь отмечала качество проделанной жизнью работы. Я слушал про выпирающие кости, васильковый, но мутный в то же время взгляд, про сочащиеся лимфой пятки, черноту и хладность ступней и про запахи, сбивающие любого живого человека с ног, а сам вспоминал свою последнюю встречу с отцом.

– Приезжай, он действительно плох. – Не веря себе сообщила мать, так что после недолгих сборов и долгой дороги я открыл двери отчего дома своим ключом.

Сперва я его не узнал. Отец лежал, подкатив глаза в забытьи, предпринимая усилия переменить вялость краткого беспомыслия на здоровый, крепкий сон, который придаст сил побороть настигнувшее его недоразумение недуга.

Я сел подле кровати, отец приоткрыл глаза. О том, что

он узнал меня, я понял по тени улыбки, что пробежала по его лицу. Проглотив рыдания, я принялся говорить. О чём, ни за что не вспомню теперь, да и плохо соображал тогда, про что мои слова. Впрочем, один только звук моего голоса подействовал на отца успокаивающе и он задремал.

Глядя на то, я сделался почти счастлив. По недомыслию или из-за детской привычной уверенности в том, что родители бессмертны и всё непременно наладится. Не желая мешать, я привстал, дабы выйти из комнаты, и тут... Руки отца задвигались сами собой вдоль тела. Он как бы обирал с себя что-то. Досадливо и настойчиво. С ужасом глядя на происходящее, я вспомнил вложенные неким автором в уста монашки слова: «Обирается. Скоро преставится...»

Через час мать позвала нас к столу. Я не мог есть, лишь старательно делал вид, мать суетилась и подкрепляла силы, необходимые для заботы о больном, а отец... Тот жевал, глотал, почти скрипя зубами, но казался лишь немного нездоровым, настолько держал себя передо мной, очевидно не желая испугать. Голубоватый цвет его губ было единственным, что выдавало в нём смертельную слабость.

Побыв подле родителей два дня, я уехал к себе, и по возвращении свалился в горячке. Через месяц, когда я только-только начал понемногу вставать, сбылось предсказание повидавшей на своём веку монашки...

Помню, как светел и молод был отец в момент нашего расставания. Мы чувствовали, что это навсегда, но не желали дать проявиться тому. Ибо очень любили друг друга... Как-то так.

Маков день

– Что празднуем?!

– 16 июля нынче. Маков день.

– Маков, говорите! Отцвели давно ваши маки, поперчили землю! Не потому ли от воздуха словно бы пряный дух? Густой, щедрый, но не чересчур...

Из неплотно сомкнутой щепоти голубого цветка сочатся капли отгостившего недавно дождя. Глядит на небо цветок доверчиво, не ожидая от того подвоха, – наивный и голубоглазый. А что под цвет, то не из-за искания, не для потрафить небу, но приголубить издали, коснуться нежно, ободрить.

Любуясь собой, небо отражается в каждом листочке, посыпает небрежно каплями воды округу с сухим треском, словно рвётся что, а чего – не разглядеть. А как сделается шаг дождя не так тороплив, и тогда он не сидит без дела. Нанизывает на усы винограда мелкие стеклянные бусины. Часто-часто. Как перед тем барабанил в нетерпении по подоконнику пальцами, будто разыгрывался, прежде чем выйти на публику к роялю.

Мокнет птенец ласточки на самом виду, в набрякшем уже

от сырости плотном, под горлышко, передничке и немаркой рубашонке с длинными рукавами. Обрядила его мать, дабы не простыл, да не расцарапал себе во сне пухлые щёчки. Ну, ничего, не век же топтаться на одном месте дождю. Как надумает уйти – обсохнет малец, перекусит червячком, и взлетит в отмытое нарочно для него небушко.

Томится в сетке травы под негой перламутровых струй улитка. Вся в пупырку, покрытая приспущенной сквозняком пеной. Застывшими каплями глаз рассматривает близоруко лист клевера ржавый местами: «Исть его, или проскользить до другого?..»

Тикают капли дождя у неё над ухом. Эти часы то медлят, то частят. Всё у них не вовремя. Усы винограда ненадолго делаются похожими на удочки глаз улитки. Туча, вроде, и выжата досуха, но с неё ещё каплет. Становится немного светлее, так что заметно, как некая крошечная, трогательная, вызывающая умиление улиточка прильнула к цветку, спрятала голову поглубже в лепестки, а тот улыбается ласково и придерживая малышку подбородком, баюкает её, кивая ветру обождать, что торопит его зачем-то.

Улитка... С прозрачной раковиной, как с чистой душой, вся на виду, будто тропинки после долгих дождей.

Малахитом и изумрудами отливают сбитые с толку жизни

бронзовки в оправе камней дорог. На залысинах полян – жеванные дождём листья ромашки и шнурок кожи, брошенный за ненадобностью змеёй. Божья коровка, в поисках приглянувшегося накануне цветка, бродит по скошенному мокрым ветром. Уцелевший случайно цикорий сопереживает с обочины, раскачивается в такт её стенаниям.

Куда не глянь, везде всё неодинаково одно и тож. Расколотый трясением, гранит мостовой являет миру сияющую истину собственной сути, а вывороченные из болотистой земли корни глядятся кикиморой... Там же – куски глины, цвета сырого ещё ржаного хлеба.

Оплавленные на огне заката облака истаяли было рвано, до просветов, но к вечеру небо вновь заволокло войлоком туч.

Позабытые в прошлом дне, мокрые от дождя деревья, изумлённо взирают на глянец седеющей грязи. Стекла домов, играя с солнцем, ещё блестят, и видно сквозь них, как те, на ком уже, казалось, нет места для клейма, пьют ханжу не из чайников, а так, ни от кого не таясь. Тяжела ли их жизнь, потому как проста, вовсе без затей и кривотолков, легка ли, – не нам судить. Если и есть где место для стыда, то оно не здесь, подле подлинной чистоты, что не только лишь после сильного ливня, но по все дни всякого времени года.

– Маков день, говорите? Ну – пускай будет так.

Пятнадцать соток

Рано утром 17 июля 1993 года, прихватив две лопаты, термос с чаем и туесок, собранной для нас матерью, мы с отцом выдвинулись к заводууправлению, откуда отъезжал автобус до наших пятнадцати соток, что стояли с момента их получения ни разу некопанные.

Когда мы устроились в автобусе, отец выудил из сумки с провизией тетрадь, нарисовал на листе квадрат, и уверенной рукой принялся прописывать размеры чётким чертёжным шрифтом.

– Расчистим территорию, разметим, вскопаем и будем строить. – Сообщил отец.

– Что именно? – Без воодушевления поинтересовалась я, и прибавила, – ибо на этот день у меня совершенно иные планы.

– Да?! – Изумился отец. – И какие?

– Ну... так. – Туманно ответила я и отвернулась к окну.

Час в дороге прошёл незаметно. Я расслабленно и безответственно любовалась мелькающими у обочины видами, словно бегло пролистывая художественный альбом с пейзажами из запасников Третьяковской галереи. Отец увлечён-

но «рисовал», «разбивая» грядки, «возводя» строения, так что, к тому моменту, как водитель захлопнул двери автобуса, оставив на с на пыльном пяточке у заросшего бурьяном поля, в воображении отца всё было готово, осталось лишь воплотить это в жизнь.

Наш кусочек земли, огороженный со всех сторон чужими заборами, выглядел, прямо скажем, не очень. И не с шанцевым инструментом в руках нужно было браться за его освоение, но ничего другого при себе не имелось, поэтому я лишь вздохнула, и спросила, где копать.

– погоди! Надо сперва разметить! – Остановил меня отец, выудив из кармана бечёвку и отвес.

Солнце крутило рыжей головой, с любопытством рассматривая, как, стирая с лица безмятежность вместе с испариной, мы мельтешим по участку, где, презрев ожесточённое сопротивление крапивы, вбиваем в почву колышки «от сих до сих». Когда светило, вытянув шею, глядело на нас сверху вниз, уже совершенно не таясь, отец наконец взялся за лопату:

– Ты посиди, отдохни. Я тут... намечу...

Сидеть было не на чем. Пыльная и румяная от жары, я поинтересовалась, над чем решил потрудиться отец теперь.

– Так это туалет. Начнём с него! – Сообщил он, ткнув ло-

патою в резиновую почти из-за опутавших корней землю и неподатливую от того. – Впрочем. Уже поздно. В следующий раз. Пора собираться домой.

В ожидании обратного автобуса, мы пили обжигающий язык чай. Солнце пристально наблюдало за нами, прислушиваясь к горячему монологу отца о доме, с балкона которого поутру будет виден небольшой бассейн с голубой водой.

– Будешь завидной невестой, с таким-то приданым! – Шутливо подмигнул мне отец, а я... Мне сделалась чуточку щекотно в сердце, как это уже бывало не раз от его посулов, но не более того.

Едва протиснувшись между наполненных кабачками корзин более расторопных и практичных дачников, со светлым, радостным чувством избавления от необходимости немедленного воплощения мечты в реальность, мы возвращались вполне довольные собой.

– Так что у тебя за планы на сегодня? – Не удержался и спросил отец на подъезде к городу.

– Свидание.

– С кем?

– Не знаю, я его ещё не видела.

И теперь, спустя годы, выглядывая из окна дома на мут-

ную воду небольшого бассейна, я неизменно улыбаюсь, припоминая слова отца, который, посетив однажды моё жилище, с очевидным искренним сочувствием, произнёс:

– Я б тут сдох со скуки!

Ему, судя по всему, было не особо важно, во что выльется пришедшее однажды в голову. Само приготовление к делу позволяло парить над суетой, которой, брезгая напоказ, каждый упивается, как умеет.

Заронив мечту, подарив её миру, отец шёл дальше, раздвигая неведомые, невидимые прочим пределы. Жаль, мало оказалось тех, способных принять его побуждения, как свои. Хотя, за неимением у большинства собственных, они пришли бы им и по вкусу, и впору, и ко двору. И были б заняты люди чем-то правильным, а не прожигали бы свои жизни попусту.

Отца... папы уже нет, а те пятнадцать соток так и стоят. Квадрат нетронутый никем земли, что отдыхает от бремени человеческих шагов и фантазий до некой далёкой, непременно светлой поры.

Кашка

Дождавшись, покуда небо оставит своё мытьё и стирку, приятели вышли прогуляться в сад. Не сделавши ещё и пары шагов, они заметили, что и туфли их оказались мокры, и рейтузы по самую середину маковки икр.

Идти дальше не хотелось, но и возвращаться в отсыревшие за лето комнаты было скучно. Порешив постоять так, приятели сдвинули цилиндры на затылок, благо ни дам, ни барышень близко не было, и вертели головами по сторонам, забавляясь тем, что сбивали тростью с листьев дождевую воду. Но, между прочим, молчание явно затянулось.

– Вы только посмотрите! Вот, что значит быть на виду! – Нашёлся, наконец, один из приятелей.

– И куда смотреть?

– Так на троян!

– Не понимаю вас, простите...

– Да вот же, вот, прямо перед вами!

– Ах... вы про кашку!

– Ну, к чему сие просторечие! У этого цветка имён больше, чем лепестков на листьях!

– Неужто поболее трёх?

– А вы сочитите! Трилистник, дятлина, дятельник, дятловина, троян...

– Так вы про него уже говорили!

– Но не счёл же! Не мешайтесь, а лучше слушайте дальше! – троезелье, троица, медовик, макушка, митлина, лапушка...

– Довольно! Сразили вы меня своей ботаникой! Сдаюсь!

– То-то же!

– Ну и для чего был тот урок?

– Да вот, подумалось мне вдруг, постоянно эта трава кашей под ногами, куда ни глянь – там она, а ведь как хороша! Но мы свыклись с ея видом, не замечаем. Обидно ей, небось.

– Ну, что вы, право! Чего ей таить-то, не человек, чай, знает себе цену, на других не смотрит. Пчёлы, вон, кружат подле неё от зари до зорьки, почтение оказывают, мёду с неё, говорят, немало берут. Корове если дать немного с сеном, так молоко сладким делается.

Прятели примолкли, присматриваясь к простому цветку, что и впрямь казался им теперь не обычной будничной травкой, но потешным огнём⁴, на который приятно глядеть.

Грузная после ливня, солидная, в серебристых богатых, чуть ли не в собольих мехах, сосна рассердилась от невнимания к себе в угоду какой-то там простолюдинке, и излила на товарищей всё своё негодование, отчего те вымокли от шляпы до колена, после чего, само собой, поспешили в дом.

⁴ фейерверк

Переодевшись в халаты, выпив по чашке чаю с мёдом и белой булкой, приятели открыли книгу, которую взяли себе за правило читать в очередь вслух по вечерам. Первое, на что обратили они свой взор, – на тиснение в конце предыдущей главы, которого не замечали раньше.

– Слушайте! – Обратился один приятель к другому. – Так сия загогулина тоже... кашка⁵!

– И впрямь! – Рассмеялся тот.

События дня, как-то совсем, незаметно увязли в уюте суверек, скапали дождём на землю, канули, словно их и не было никогда. Ну, и потекла жизнь приятелей по-прежнему, – в вечном тщании рассмотреть недостижимое и небрежении к тому, что рядом.

Вот, такая вот... кашка...

⁵ заставка, вытисняемая в конце главы или книги для украшения (в книгопечатании)

Без конца...

Пейзаж был столь хорош, что даже присутствие людей не портило его. Хотя, отчасти... Ими было сделано довольно, чтобы округе желалось избавиться от них поскорее. Особенно это касалось скошенного вместе с прочей травой цветка цикория, кой полюбился поляне, на краю которой вырос, и дороге, с которой был виден, и ветру, что вертелся подле него якобы за делом, но в самом деле – так только, лишь полюбоваться.

Цикорий, похожий на другие цветы, казался между тем совершенно иным, но не по причине чуть более широких, нежели у остальных, лепестков. То солнце, которое, в общем, играло всеми, с ним обошлось лукавее прочих, и изловчилось подсветить его до такой степени затейливо, что чудилось, будто распустившийся бутон сам испускает сияние. Тычинки же, осыпанные пылью, словно сахаром, на свету источали едва заметный сладкий пар.

Цветок, невзирая на то, что был отмечен, оставался прежним, – доверчивым, простодушным, радушным и заметным от того. Шмели и бабочки первым навещали именно его, минуя сотоварищей луговника, так неловко прозывали сей цвет цикорники, охотники и копатели цикорного корня, что сушат его и продают заместо кофе по сей день.

И радовал бы этот цветок на стебле с детскими угловатыми коленками округу, сколь ему было отпущено, аж до осени, если бы не вздумалось кому покосить лужок, да наместить стожок. Для какого такого дела, неведомо – незнаемо, только пришлось идти мимо того покоса, где лежал тот цветок, истекая белым соком, как кровью.

– Ох, жалость-то какая! – Воскликнул Некто, прибившийся по пути.

Горько было глядеть на оторванный от родной земли, от корней цветок, но превозмог он случившуюся разлуку, и распустился навстречу последнему в своей жизни рассвету, голубыми жемчужными лучами от горизонта до горизонта.

– Не всяк так-то смогёт... – Вздохнул всё тот же Некто. Кто он был таков, теперь не узнать. Спихватились его в пустой простылый след, как и не пылил лаптями рядом по всё время пути никто.

И грусть обуяла вдруг. Так от нечаянного тумана округа делается чёрно-белой... А где-то далеко было слышно грозу, что шалила, будто дитя, что бегало по комнатам, то включало, то выключало свет, и натыкалось в темноте на стулья, роняя их один за одним... Без конца.

На свидание с осенью...

Крадётся лето между луж, как промежду прочим. Обходит округу бочком, по кругу. Семенит, опасаясь поскользнуться на полужидкой слякоти бездорожья, по глубокому ручью дороги, что выплёскивается через поребрик, облизывая обочину, и оседает каплями на обуви горожан или, коли есть где гранитная насыпь, просачивается сквозь неё, не оставляя заметного следа.

С поклажей в половину себя, по пресыщенному водой песку бежит одинокий муравей. Тащит он завёрнутую в белую пелёнку, словно куколку, куколку⁶. Поднимая её повыше над залившейся тропинкой, дабы не выпачкать, надсаживается, изнемогая, но не мыслит остановиться, бросить, не донести... Лишь отдувается со свистом. Менее храбрые его сотоварищи отсиживаются в сухих лабиринтах подземного гнезда, более смелых смелю мокрой метлой косога на оба глаза ливня, и изломанными, игрушечными их телами обметало теперь отмели луж и рек, будто губы лихорадкой.

Белые ночные цветы⁷ заставляли себя спать по всё вре-

⁶ стадия развития муравья

⁷ Смолёвка поникшая, или Смолёвка поникающая (лат. *Silene nutans*) – вид растений рода Смолёвка (*Silene*) семейства Гвоздичные (*Caryophyllaceae*)

мя, пока шёл дождь, сжимали крепко веки бутонов, нарочно пренебрегая светом дня. Сговорчивые при луне, страстные ея поклонники, открывались они ей навстречу, отражая созвездия, как нападки. Выбирая себе ночных бабочек для вальса или танго, разборчивы и придирчивы они весьма, хотя мнут бархат богатых нарядов лишь до рассвета, ни мгновением дольше.

– А дальше?

– Кому какая про то печаль...

Стараясь шуметь потише, крадётся лето между луж, как промежду прочим...

– Торопится, знать.

– Куда?

– На свидание. А спросите – с кем, так с осенью, с кем же ему ещё...

Меньшее из зол

У меня перестал подходить хлеб. Тот, что так любил отец, и, называя его пирожным, отрезал дрожащими слегка руками, а жевал с улыбкой, чуть прикрыв глаза от удовольствия.

Мне говорят – дрожжи не те, мука, масло... Да нет, всё то же, не изменилось ничего, кроме, пожалуй, меня.

После того, как не стало отца, я не чувствую дыхания хлеба, – того, из зерна с омытых вечной вечерней росой полей и забродившего от капли цветочного нектара, что обронила из переполненной авоськи пчела...

Оно как-то скоро и незаметно прошло, то время, когда вызволенный из печи, утомлённый её жаром, хлеб улыбался навстречу:

– Наконец-то! – Шептал он.

– А разве я опоздал? – Удивлялся ты притворно, ибо сам не мог дождаться никак, дабы прижаться щекой к корочке, ощутить её сдобный в меру, кружащий голову и сбивающий с толку дух.

– Но всё же, скажите ваш способ, быть может, я найду ответ, причину...

– Извольте.

Залитый варёной водой солод как и прежде ленится до рассвета. Тёплые дрожжи, от недолгой, но сладкой их жизни, уподобляются тучам, что растут на глазах, погоняемы волей ветра. Спутанность мыслей просеянной мелко муки со щепотью соли в ней, как истиной, сутью, солью бытия, из многих его слёз. И, для утolenия ран, – масло солнечного цветка, что лоснится, бежит густоты, тяготиться ею и льнёт ко всему, чего коснётся...

– Я полагаю, вам надо поговорить с хлебом по душам перед тем, как поставить в печь.

– Не поможет. Увы.

У меня перестал подходить хлеб. Он не видит в том смысла. Я не сумею радоваться ему также, как отец, которого мне хотелось защитить, отгородить свежей горбушкой... от его прошлого. От голодного детства и контузии в войну, от показательных казней и откриток поверженных врагов, по которым он учил их язык... А как забыть про кусок хлеба, что съедает... съедал!!! – после каждой трапезы отец. Он так и не смог прекратить делать это. Привычка иссякла вместе с жизнью. И не испытать больше того счастья – печь хлеб, предвкушая, сколь будет доволен отец.

У меня перестал подходить хлеб. Ну, что ж. Пусть бы случилось только это. *De duobus malis minus est semper*

eligendum⁸.

⁸ меньшее из зол следует избирать; «Этика Никомаха» (др.-греч.) Аристотель

А зря...

Уехавшие. Они не предатели, они воры, которые похитили веру в человечество, вместе с частью прошлого, в котором увязли мы все навечно.

Карусель бытия такова что, подсаживая «прокатиться» новых людей, она выпроваживает, гонит прочь предыдущих. Когда и кого – решает сама, невзирая на наличие входных, лотерейных или банковских билетов. Думая о чём-то своём, не глядя ни на кого, крутит она ручку барабана, на котором смазанные дождями и движением яркие пятна. И нам надо успеть угадать среди них образы своих извеку людей, отыскать сонетку к нужному колокольчику, дабы пробудить в себе любовь к ним и привыкнуть к их новым лицам. Тот разрисованный барабан – один на всех. Без любого из нас он сделается ущербным, ветхим и от вращения довольно скоро рассыпется в прах, так что погребёт под собой всё нажитое поколениями людей.

Слышите грохот оседающих в пыль памятников? Стёртое с лица земли, становится ею.

Люди, имён которых не назову, украли себя из моей жизни. И мне стыдно, что я позволила обмануться. Контрамарки или пение бок о бок на сцене, переписка, обеты, обеды и

подарки друг другу через верных людей... Верных!!!

Так зачем было всё это?!

Говорят, что надо прощать. Надо? Простила! Но как заставить себя поверить в то, что оставшиеся не враги: мне, нам, Отечеству?!

Мы избегаем разговоров со знакомыми ПРО ЭТО, хотя оно и не несёт нынче никакого, скользкого от вожделения, подтекста. Мы не уверены теперь, сколь истины осталось в наших друзьях, ведь их принадлежность определяется не готовностью составить компанию, но решимостью оставаться с Родиной на протяжении всей её судьбы. И не как у постели угасающего престарелого родственника, не с сожалениями и причитаниями, в надежде пережить поскорее это «досадное недоразумение, которое скоро, очень скоро пройдёт».

Желание уничтожить врага улечивается только вместе с ним. Не думали про это? А зря. Ведь враг – это мы...

В погоне за махаоном

Виноград застил дому глаза. Завивая с ночи подле окон в тонкие кудри длинный чуб, стриженная не раз лоза выглядела неприбранной, а из-за того, что она упрямо ломала строй и тянулась на стороны, не было никакой возможности разглядеть, случится ли навялить изюму хотя бы в этот год. В прошлые-то, повсегда изобильные по слухам времена, на радость детворе, сушили целые столы виноградного соку на смокву. Свёрнутая наподобие скалки, хранилась она в кладовой, и не было дня, чтобы не отрезывали от неё приличного куска в довесок к ужину ребятне.

Теперь же – ни смородины, ни вишен, ни малины. Впрочем, ветер, вероятно, ведаёт, в каком месте их искать, но из его стонов разве поймёшь, где именно? Остаётся лишь досадовать на его удачу, да прислушиваться, как сладко вздыхает он смородинным, да кисло – малиновым духом.

Однако не во всякий час он так смирен. Ежели, к примеру, ты идёшь где совсем один, а босой ветер шлёпает по траве следом, то чудится, что это спешат за тобой, из-за чего оборачиваешься опасливо и часто. А когда ветер ещё и толкнет вдруг в спину, либо подсадит со всего маху, тут уж торопись поскорее домой, да запрёшься на всякий-то случай.

И пока ты подсматриваешь из-за занавески во двор за тем, как ржавые бабочки глядят завистливо на шмеля, кой обхаживает голубую кукурузку цветка вероники, заплутавшая промеж рам муха жужжит жалобно: «Алле!», взывая к телефонистке, дабы вызвать кого-то себе в помощь.

Через пыльное окно видны земляные полы сада, выложенные янтарной мозаикой листвы, и то, как в погоне за махаоном, птенец жаворонка едва не расшибся о вишню. Мать с криками устремилась за ним, но ничего, в этот раз обошлось.

Часть пейзажа замазано белым, то пятно березняка. Привычный и незаметный от того, усеян он берестяными грамотами, – свитками, исписанными углем и затерявшейся промеж ними, поражающей воображение, чагой. Одна распахнута, ровно открытая перловица, чья жемчужина закатилась на сосновую ветку и укрылась в ее мехах, притворяясь коконом паука. Тут же и алые ягоды ландыша, словно покрытые глазурью глиняные бусины.

И ты никогда не бываешь одинок в своём стремлении узнать в подробностях про то, что делается вокруг. Солнце и то, – протрёт прореху в облаках, будто в замерзшем оконце, и любит. Бывает, на что-то и не глядели б его глаза, а деваться некуда, – хочешь не хочешь, не отворотиться ему, не отвертеться от земли ни-ког-да ...

Мать в законе

9

О... как она была счастлива, как гордилась собой в ту минуту, когда после слов адвоката, обращённых к судье: «Прошу обратить ваше внимание на двадцать шестой лист дела...», тот пробежал глазами указанную страницу, и вскинув брови к парикю, стукнул молоточком по круглой, морёного дуба, подставке, решив вопрос в её пользу.

Со стороны, да при здоровом размышлении, всё это было больше похоже на торги, чем на суд, к тому же законник, по давней студенческой привычке, в момент удара молотком, довольно громко прошептал: «Продано», и усмехнулся.

Но она, само собой, не замечала ничего вокруг из-за оглушившей её радости. Вот, наконец-то, свершилось! И плевать, что ей уже за восемьдесят. Ну, что бы она теперь делала дома?! Ходила из угла в угол по собственной квартире, прислушиваясь к разговорам соседей за стеной? Их всех, за годы проживания в одном подъезде, она знала, как облупленных. Ну, вышла бы на рынок, в магазин, а в субботу, принарядившись, – в церковь. И всё? Теперь-то у неё совершенно другая

жизнь, и она может делать, что ей заблагорассудится. Конечно, и квартира от наймодателя, и дочь приходит домой только ночевать, но это ничего. Пока она работает, у неё самой есть время поразмыслить. Только вот про что – не придумается никак. Ну, так и это тоже – до поры до времени. Можно, к примеру, открыть окошко и накрошить хлеб голубям. Те не обойдут вниманием нечаянное, нежданно-негаданное пиршество, прилетят сразу. Поворкуют, поклюют, выпачкают подоконник и, когда поймут, что поживиться боле нечем, упорхнут, кинув в оплату голубое пёрышко. Голуби везде одинаковые.

Зато, когда у дочери будет выходной, они снова поедут в магазин и купят еды на неделю, – молока, крупы. Надо будет попросить дочь, чтобы сфотографировала подле ящиков с помидорами, отослать родне, которой на один и тот же сочувствующий вопрос «Как вы там?», всякий раз приходится отвечать с довольным хохотком: «Как в шоколаде!»

Ну, а как ещё ответить-то? Дочь не бросает вторую работу только потому, что раз в неделю ей бесплатно дают три фунта говядины и свежую буханку. Это хорошее подспорье. А так – им всего хватает, самое главное – вырвались с ненавистой Родины.

... Так думала она по дороге в больницу к дочери, сосед-

ка согласилась отвезти её туда. Сама-то она не умеет водить машину, да и языка за десять лет не выучила. Дочь вторую неделю держат привязанной к кровати и каждые шесть часов ставят укол морфина в живот. Врач приходит, но только за тем, чтобы добиться согласия на использование органов тем, «кому они нужнее».

– Ты не проживёшь и месяца! – Убеждает доктор.

– Я ещё станцую на твоих похоронах... – Раздаётся из разорванного в сопротивлении рта.

– Страшные истории вы рассказываете.

– Это не выдумка, быль.

– Надо же... Так что там было-то?

– Где?!

– Да, на двадцать шестой странице!

– А... вы про это... Ничего особенного. Вырезка из газеты «Комсомольская правда» от 3 марта одна тысяча пятьдесят восьмого года, перевод на английский статьи про девочку, которая вместо того, чтобы заниматься школьными делами, изучает Библию.

Такое счастье...

Ночь только-только раздвинула занавески, дабы впустить немного света на округу, когда я вышел из дому и направился к реке.

Неосторожные со сна птахи, согреваясь, сипло прочищали горло и сквозили близко возле щёк, дабы заглянуть в глаза и понять причины моего столь раннего появления в лесу. Скоро оставив попытки разобраться, они разводили в недоумении крылами и присаживались на ближайшие ветки досыпать. На удивление, потревоженные в траве комары, и те были недовольны. Сварливо пища, они спешили вернуться к нагретым за ночь постелям листвы, в надежде досмотреть сны, чьи сладкие брызги поджидали тут же, по соседству с каплями росы, что трепетали, предвкушая первое прикосновение солнца. Напрасно то было или нет, судить, во всяком случае, не нам, но, пробудив искру радости, светило терзало росинки, иссушая своим жаром, оставляя заместо послевкусия неряшливые пыльные пятна поверх узоров зелёной, вышитой скатерти листвы.

Впрочем, некоторым каплям удавалось избежать сей участи, и, щёлкая листья по носу с озорством хмельного шалопая, росинки сбегали ближе к земле, намереваясь схоронить-

ся до вечера, когда уж можно будет не страшиться собственной будущности. Однако и там их поджидала неприятность. В милом, нежном, трогательном обличье россыпь новорождённых, стеклянных почти улиток, каждая – в собственном хрустальном напёрстке раковины, отпивала по глотку росы, что в той самой единой капле, чем истощала её запасы задолго до наступления вечера. Тем же, что было пролито мимо рта, довольствовалась земля.

– Так только, смочить губы... – Бормотала она тихая от неловкости, утираясь тыльной обветренной ладонью, всю в рыжих веснушках рано павшей листвы вишни.

Добравшись до реки, я побросал с себя одежду на песок, и не раздумывая ступил в холодное течение с решимостью, которая напугала даже лягушек, которые благоразумно обосновались поверх листьев кувшинки.

Когда же, как следует озябнув, с примёрзшей к лицу бессмысленной улыбкой на голубых губах я вышел из воды на берег, лягушки сочли за лучшее промолчать. Не раздалось ни единого кваканья, покуда я натягивал на мокрое тело брюки и вытряхивал воду, согревшуюся в ухе. По собственному опыту я знал, что иногда благоразумнее не говорить под руку и не раззевать попусту рот. Да то ж было июльское утро в лесу на берегу речки, но и она, казалось, подгоняла свои воды в этот час шёпотом... Так что домой я возвращал-

ся в полной тишине.

Птицы усердно чистили пёрышки, травинки сгибались под тяжестью совершенно сытых комаров, а гадюка в тени куста боярышника делала вид, что дремлет .. Ну и чем я заслужил такое счастье, скажите, чем?!

Скучно

Два товарища прогуливались по дороге вдоль поля, когда заметили трясогузку, что бежала по вспаханной борозде, прищипывая обескураженных переменой мест насекомых одного за другим. Не давая очухаться, птицы быстро собирала их щепотью клюва и уносила в гнездо, двигаясь при этом намного скорее обыкновенного. Отставив на время обстоятельство, которой завидовали прочие воробьиные¹⁰, трясогузка сосредоточенно суетилась, и пользуясь удачей момента хватала всех без разбору жесткокрылых, невзирая на пол, возраст и семейное положение. Со стороны казалось, что птица ловко отплясывает озорную во все времена мексиканскую кукарачу. Жуки, что ползали на карачках¹¹ у неё под ногами, были похожи на погорельцев, враз лишившихся и крова, и нажитого имущества, от чего вызывали жалость.

– Может, прогоним?

– Трясогузку-то?

– Её.

– А смысл?

¹⁰ многочисленный отряд птиц

¹¹ на четвереньках

– Да как-то не по-честному оно. Жуки старались, личинок там, куколок всяких выводили-откладывали, а тут эта заявилась. Как разбойник!

– Ну, погонишь ты трясогузку, и дальше что?

– Можно назад закопать...

– И ты знаешь, кого куда?

– Да, просто – раз-раз!

– Ну, брат, во-первых не просто, каждого в своё надо: кого в землю, кого в навоз, а которых в корни травы, но и это не всё. Закапывать-то ого-го сколько, по всей борозде!

– Не по всей, но хотя бы отчасти... Всю – это тяжело, я не конь.

– Хорошо, а эту самую часть чем собираешься закапывать, шляпой?!

– Зачем шляпой? Руками... – Смутился юноша.

– Вот-вот. Сам уже понял. что сглупил. Жуков, конечно, может и жаль, но птица не зря старается. Кому надо, заберётся назад сам или помогут сородичи, а так – не пропадёт добро, птенцам достанется, их тоже надо чем-то кормить.

По дороге домой товарищи молчали. Один с лёгкой улыбкой удовольствия прислушивался к гулу, что издавала земля под ногой, а другой, тот, который горел праведным гневом по адресу птицы, был смущен и озадачен. Когда пришла пора прощаться, первый, чтобы ободрить друга, сказал, пожимая ему руку:

– Ведь хорошо же!

– Так хорошо, что даже скучно. – Со вздохом ответил второй.

Добро пожаловать

В обществе случился переполох. Девицы и юноши, отцы семейств и мамыши, все переспрашивали друг у друга, – кто он таков, откуда, и сколь неприятностей ожидать от новоприбывшего в их тихий доселе, лишённый излишних тревог, полный спокойствия и уюта уголок.

Как ни странно, но старожилов появление чужака заботило меньше прочих. Усмехаясь загадочно и неопределённо, они намекали на многих, виденных ими задолго до появления тех, новомодных, теперешних, которые предвкушение события выдают за случившееся уже, а во всякой случайности находят приметы обыкновения.

Старомодные во всех смыслах корифеи¹² глядели свысока на тающую в пламени любопытством молодёжь и пылающих негодованием их опекунов и радетелей. Интерес первых и опасение вторых были понятны, а приготовления «встретить, как полагается», – в тот же час смешны, ибо ни одна препона ещё не помешала задумке судьбы ни разу. И коли пришлый господин явился, дабы причинить какое неудовольствие или даже зло, – того уж не миновать, а что касемо

¹² большак (главный) в каком-либо деле

добрых намерений... Усталые ими дороги ведут в известном направлении.

Тем временем, сделавшийся причиной внезапного смятения крошечный лягушонок, волновал поверхность пруда, как заправский матрос с потерпевшего крушение корабля, стилем брасс¹³. Июльский смерч, скорый на расправу, доставил его сюда из родного болота, прямо так, без плацкарты и оплаты постели. Сохраняя достоинство и сдерживая слёзы, лягушонок попеременно загребая воду пруда, двигался в сторону отмели, на которой ухмыляясь лежал уж, недвусмысленно поджидая беднягу.

Приготовленное судьбой, непоправимое, казалось свершится вот-вот, но в последнюю минуту уж непонятно отчего переменял своё намерение, и многозначительно, но не зловеще, а даже немного по-отечески прошептал: «Добро пожаловать...», после чего уполз под тёплое одеяло преющей листвы.

Лягушонок благодарно поклонился вслед ужу, сглотнул, как водится, поболее воздуха, и... синицы с зябликами, щеглы, дрозды, соловей и один поползень засобирались кто куда, предоставляя возможность мальцу передохнуть с дороги, отсрочив до завтра расспросы про его житьё-бытьё на ста-

¹³ стиль плавания, напоминающий движения плывущей лягушки

ром месте, ну и вообще – как там, в дальних краях, где несомненно всё иначе, чем здесь.

А лучше или хуже, – об этом спрашивают одни лишь глупцы, что никак не могут примириться с собой и грешат на времена, обстоятельства и окружающих их... кем бы те ни были в самом деле.

Гроза и детки

– Деда... мне страшно!

– И чего это?

– Так стучит.

– Гроза это, не бойся. Ты, давай, ложись, а я тебе всё про неё и расскажу.

– Долго-долго?

– Да, покуда не уснёшь...

Незадолго до грозы, прямо у неё на пороге, перед занавешенной войлоком туч дверью, топтался ветер и никак не решался войти. Вечный погонщик и пастух, он усердствовал, сгоняя деревья и кусты с облюбованных, насиженных мест, но те не поддавались, крепко держались корнями за землю. Одни лишь только листья, подражая бабочкам, порхали послушно.

Когда же, спотыкаясь об оставленную не на своих местах мебель, вошла гроза, то притихли все, кто шумел доселе, ибо перекричать небесное гроженье не дано никому.

И покуда лилось из сорванных ветром кранов, рисуя на клочке неба, гроза придумывала себе подпись. Ей хотелось, чтобы выглядело легко, но солидно чтоб прожгло кожу памяти, будто тавро, а увидев её росчерк где-либо, возможно

было б понять силу и нрав. Впрочем, подходящих по цвету чернил у грозы не оказалось, а были лишь жёлтые, белые и жидкие голубые.

– Берут и не доливают, разбавляют водой... Кто так делает? – Бухтела гроза, но не оставляла попыток оставить об себе памятный знак на небосводе.

Ну, а потом...

После ливня на земле мелкими веснушками проступили лягушата. Невзирая на скромные размеры, в каждом из них проглядывал недюжинной силы характер, что не в состоянии смыть никакими дождями.

Вон тот – философ, манкируя проходящими, спокойно взирает на солнце, что неторопливо, пауком взбирается по сетке ветвей. Ни нарочитый подлестопот, ни размеренные мимо шаги, ни даже осторожное прикосновение к плечу и оклик : «Эй, парнишка, ты бы лучше отошёл, а то раздавят ненароком!» – не отрывают его от важной роли сопровождающего светила на небеса.

Тесно сплетённая промеж собой листва, как влажные косы. Не ровён час, солнце заплутает, позабудет дорогу наверх, тут без лягушонка никак. Серьёзен малыш, велик в своём предназначении.

Но не всяк лягушонок таков. Иной скачет, не разбирая дороги, куда ему глянется, на виду у ошалевшего от подобного нахальства кота. Другой, после лёгкой пробежки и душа мокрой травы, ныряет в купальню пруда, где принимается вырабатывать штиль и стойкость, как заправский физ-

культурник...

– Деда, и после любой грозы точно так?

– И так, и эдак, и немного по-иному. А ты, как я погляжу, про бояться-то и позабыл. Чаю, не страшно тебе теперь!

– Не страшно, деда! А можно я схожу на лягушат поглядеть?

– Почему нет. Иди, да ступай осторожно. Махонькие оне, мне с ноготок, тебе с пальчик. Детки ещё, как и ты.

Чужая жизнь

Они не были товарищами в привычном смысле этого слова, и хотя шапочное их знакомство длилось уже довольно долго, но, как водится, лишь «пока шляпа висит в воздухе». Ни до ни после они взаимно не брали один другого в расчёт вне случайных, но довольно регулярных встреч. Изредка, впрочем, осознавая неловкость минуты, по причине неопределённости, – кто они друг другу, знакомцы стояли, обратив к визави лицо с вежливой, беспричинной и бессмысленной от того улыбкой. В минуту слабости, когда молчание начинало заметно тяготить, более междометиями, нежели общими фразами, обсуждали они редкие до заурядности погодные явления.

Среди прочих, особенно выделялась ими солнечная погода, так как дожди потворствовали появлению всё новых и новых комаров, что очевидно досаждали обоим. Явно добродушные и добропорядочные, приятели сочли бы дурным тоном нехорошо отзываться о ком-либо, но в отношении насекомых были единодушны.

– Нет, ну ведь правда же?! – В полупоклоне потирая укушенное комаром место, вопрошал один, и второй отвечивал без промедления:

– Совершенно с вами согласен!

Так бы и тянулось это приятельство неведомо сколь долго, и не переросло б ни во что большее, если бы однажды вечером...

Ожидая поезда из города, с которым обыкновенно приезжал к снимавшим дачу погостить кто-то из многочисленной родни, наши герои, – оба разом, но не вместе, – прогуливались подле железнодорожного вокзала. Заприметив знакомый силуэт, они уже было готовились приподнять шляпы, как вдруг...

– Поглядите только на это! – Воскликнул издали один из приятелей, и помчался напрямик на железнодорожный путь, по которому шаркая чугунными тапками рельс уже плевался кипятком товарный, так что второму приятелю не осталось времени на малодушие, и он побежал наперерез.

Сбитый наземь и с толку, но не с карусели земли, моментально сбившийся «на ты» виновник происшествия выравнял дыхание, и на вопрос, цел ли, смог лишь кивнуть.

– Ну и куда ж ты торопился?! Разве не слышал, как шепелявит паровоз?

– Представь себе, нет... – Виновато ответил тот.

– Но отчего?! – Изумился невольный спаситель.

– Там, над железнодорожным полотном размахивал крыльями, словно вышитым платочком, махаон...

Надо ли говорить, что с того вечера друзья стали гулять вместе. Не под руку, впрочем, но они шагают теперь рядом, и по-прежнему немногословны. Не из-за отсутствия тем для бесед, а от того, что понимают друг друга без слов.

Котёнку, что едва не поплатился за своё любопытство, устремившись к поманившему его паруснику¹⁴, на вид было месяца три, не больше, а собаке, которая не дала случиться непоправимому – чуть больше двух лет, и она с раннего детства боится грохота поездов, но махнула хвостом на свой страх, не истратив на раздумья ни мгновения чужой жизни.

¹⁴ махаон – крупная дневная бабочка семейства парусников

Как в жизни

– Гляди-ка, камни дорожки исписали улитки перламутровыми мелками. И линии все неровные, неловкие, то шире, то тоньше. Ну, это ничего, к школе набьют руку, научатся, как мы, бывало, – и буквы чтоб ровные, и чертить в тетради поля прямо так, без линейки. А кто и окружность рисовал без козьей ножки!

– Это что ещё за ножка?

– Циркуль такой был, для школьников, надевался на карандаш или ручку. Упрёшься в листочек иголочкой, что у него на ножке и крути, сколь надо. Бывало, такими окружностями всю тетрадку изрисовывали – загляденье. Ну и раскрашивали после, красиво выходило.

– Какие глупости...

– У каждого поколения они свои, как и у всякого – свой дар.

– И много было у вас даровитых?

– В классе-то? Хватало. Один в уме перемножал четырёхзначные числа, другой, улыбаясь лёгкости, с которой умел распутывать переплетения вычислений, исписывал листок черновика четырежды, а после, если хватало урока, ещё и пару раз наискось.

– Как это? Так не бывает. Не получится!

– Отчего же! Сперва сверху вниз, потом перевернёт листок и опять сверху вниз, по написанному, и с левого боку, и с правого...

– Да там же после ничего было не разобрать!

– Кому как. Ему понятно, а в тетрадке начисто у него уж давно всё написано. Талант!

Покуда дождь отбивал чечётку босыми пятками по мокрой траве, как каблуками по паркету, я вспомнил ещё и про то, как случилось, на переменке, – стукнет кто дробно по полу, раз, да ещё раз, а ему в ответ с другого конца – таким же боем. И топают уж после навстречу друг другу: руки в пояс, влажные чубы лапшинками прилипли ко лбу, русые хохолки топорщатся на затылке, словно гребешки молодых петушков, и пыль из половиц с застрявшей меж ними краской скачет кверху.

Ребята тогда бросали свои дела, расступались, теснясь к стенам, глядели – кто кого перетопает, а там подтягивались и учителя, стояли, зажав подмышкой указку с классным журналом и улыбались... Здорово было!

– Как в кино...

– Как в жизни!..

Никого, дороже тебя...

В детстве у меня было довольно много игрушек. Не так, чтобы очень, но мне хватало. Среди них были и очень любимые, и не совсем. Какие-то из игрушек занимали меня дольше и лучше запомнились от того, некоторые затерялись в складках воспоминаний, хотя наверняка приняли какое-то участие в том, чтобы я вырос не совершенным недотёпой.

Помню вкусный запах мозаики с разноцветными гвоздиками о шести гранях из которой, что не составляй, выходили одни сплошные ромашки. И не только такие, с белыми лепестками и солнышком посередине, но и дикие, яростные, нелепые, красноглазые, глядя на которые хотелось поскорее очистить круглую доску до дырочек и начать всё заново.

Очень неплох был конструктор. Из крупных его алых и голубых пластмассовых кирпичей я возводил длинные, в полкомнаты сооружения, из-за чего домашним приходилось переступать через них. В идеале мне хотелось, я это очень хорошо помню, выстроить высокую стену, дабы отгородиться от взрослых и заполучить таким манером собственный уголок. Мы с родителями жили в единственной комнате коммунальной квартиры, и невозможность уединиться превращала наш быт в противостояние. Мать пыталась раскроить

меня по своему лекалу, воспитать идеального послушного ребёнка, а я отчаянно сопротивлялся, и львиную долю забав разыгрывал лишь в воображении, исключительно для их неприкосновенности. Невысказанными, они были в большей безопасности.

Среди прочих игрушек, мне особенно нравился небольшой пластмассовый грузовичок с откидывающимся всамделишным кузовом, кабиной и рулём между двумя сидениями – одно для водителя, другое для пассажира. Мне доставляло большое удовольствие разбирать и собирать его. У грузовичка так вкусно защёлкивались детали, такой он был ладный, приятный и на цвет, и наощупь. Грузовичок хотелось возить с собой на верёвочке, для этого у него из-под бампера, который, кстати, тоже можно было и отсоединить, и прикрепить обратно, выглядывала небольшая петелька. К сожалению, расстояние между колёсами грузовичка было невелико, и то, что придавало ему столь щёгольский, уютный, в высшей степени опрятный вид, одновременно мешало поспевать за мной. Даже если я шёл не торопясь, по асфальту, а не по песку, грузовичок спотыкался и переворачивался набок, оставив в сторону кузов. Приходилось часто переворачивать его, ставить на колёса, да это было уж никуда не годным делом, неинтересно, посему грузовичок чаще всего простаивал у кровати, в ожидании, покада я вернусь с прогулки.

Но по-настоящему любимой игрушкой был сидящий пёс. Ветхий, лопоухий, выцветшего белого окраса с коричневым оленьевым пятном на пол-лица, он был тем самым, которого я бы взял, в случае, если бы пришлось выбирать, что одно-единственное можно увезти с собой на Северный полюс. (Дети часто намереваются отправиться именно туда!)

По сию пору помню запах казеинового клея¹⁵, что исходил от дерюги, из которой был сделан этот замечательный пёс, и преданный, бесхитростный взгляд карих глаз, что следили за мной, где б я ни был.

Этому псу было всё равно – как долго я чищу зубы, сколько кусков хлеба съел за ужином, почему у меня такое недовольное лицо или, напротив, «чему это я там смеюсь так неприлично громко». Ему был важен сам факт того, что я есть.

И вот однажды, мать выбросила моего пса, сочтя его слишком пыльным. Не знаю, чего было больше в том – жестокости, глупости, ревности или стремления держать дом в совершенной чистоте.

– Эта тряпка, из которой он сделан, только собирает грязь. – Сказала она.

¹⁵ натуральный клей животного происхождения, основным веществом которого выступает казеин, получаемый из молочного белка

Плакал ли я, просил ли оставить собаку, – не помню, вполне возможно. Даже – скорее всего, но мать была неумолима или категорична, ну или – последовательна, это уж кому как угодно рассудить. Бабушка же, в утешение, сострочила из овчины нечто похожее на медведя, а из бумаги смастерила чайный сервиз на шесть персон. С приклеенными тонкими ручками и расписанный акварелью, он был весьма неплох, я оценил старания бабушки, и поспешил разгладить поцелуями морщины её мягких щёк...

Но, как бы там ни было, – разве могло сравниться то «похожее на медведя» с собакой, для которой ты – единственный, и нет у неё на свете никого, дороже тебя.

Обычное летнее утро

Покуда не дОсвет¹⁶, ласточки кружат мелкими чайнками в спитом чае ночи. На самом верху, стаявшим в пенку куском сахару – белая жидкая гривка облака и прозрачный, тонкий, будто привидевшийся лимоном, желтоватый срез луны. Выпавшая из неё красноватая косточка утренней звезды, затерялась уже среди кустов, как промеж чайного сору на доньшке горизонта...

– Это хорошо.

– Отчего?

– Чем ближе осень, тем позже утром она остаётся видна, а пока ничего, погреем ещё старые косточки.

Трамваи улиток ходят по медленному расписанию, по траве, по тропинкам и бездорожью, каждому по силам сойти там, где ему удобно, ну и наступить на них может любой.

– А нечего тут ползать под ногами!

– Так если они тут, как вы выразились, ползают именно для того, чтобы у всякого, кому попадутся на глаза, была возможность сделать выбор – раздавить с бранью или обойти,

¹⁶ утренняя заря

да при добром слове. Проверка на человечность, знаете ли.

Шмель голубит кашку, прихорашивает. Дождик обещались быть с минуты на минуту, нельзя к нему распустьёхой

– Надо же, на одни только белые цветы клевера садится, красных как бы сторонится. Зачем это?

– Белый клевер – ползучий¹⁷, а красный – луговой¹⁸, каждому внимает в свой час.

– Ой, да какая ему разница!

– Э... не скажите! Он же не пылит, не пускает пыль в глаза, а кормится, и опыляет...

–... вроде, как не путает друзей и врагов, – человек, прямо!

– Ну, нам бы ещё поучиться у шмеля, ибо частенько попадаем впросак, не то, что он, – всегда в самую точку, наверняка.

...Уткнув нос в пушистый лебяжий воротник облака, солнце шагает неторопливо и величаво, подол его небесно-голубой накидки касается земли... Утро, господа-товарищи! Обычное летнее утро!

¹⁷ лат. *Trifolium repens*

¹⁸ лат. *Trifolium pratense*

Что поделатъ...

– Ну, что ты будешь делать! Опять тебе сказку?

– Снова! Только другую, не ту, что прежде.

– А чем тебе та не угодила?

– Так ту я уже слышал!

– Привыкай. Жизнь, она такова, – всё одно и то же, по кругу. Впрочем... Пока ты ещё мал, уговорил, расскажу тебе другую.

Их было двое: он и она. Начитавшись досыта книжек про путешествия, накопив кой-чего в дорогу и не отпросившись у родни, неким поздним дождливым вечером, почти что ночью, они дождались, покуда родители уснут и ускользнули из дому. Встретились они, как договаривались, – в парке у озера, да не под тем газовым фонарём, подле которого мы с тобой прошлой осенью собирали золотые кленовые листья, а у подножия невысокой ёлки, кой весной распустила свои листья наперёд берёзы, что, как известно, – верная примета дождливого лета...

– Ты не так сказал, деда! – Прервал рассказ внук.

– Чего это?

– Правильно говорить ёл-ка!

– А... ты про это! Ну я и не спорю! Про ёлку именно так и

говорят, а я тебе про ольху толкую, её ещё кличут и елохой, и ольшиной, и вольхой. А у нас во Владимирской губернии она ёлха, и никак по другому.

Так сказывать дальше или замолчать?, сам заснёшь?

– Говори! – Закивал головой мальчик, и дед продолжил рассказ.

– Присев у корней дерева, наши беглецы собирались с духом, чтобы отправиться в путь.

– Дождь в дорогу – это к добру. – Важно говорил он, а она глядела на него доверчиво и кивала. Хотя, ежели по чести, ей было грустно вот так вот, не спросясь никого, покинуть отчий дом, бросив мать с отцом, братьев и сестёр. И хотя будет кому утешить за неё родных, но также, как по-разному любят родителей, так и они неодинаковы в любви к своим детям, а она была-таки у отца любимицей.

И пока ей думалось так, разгорячённый мечтами спутник вещал про то, как отыщут они новые красивые земли, вернуться на Родину, и позовут всех с собой.

– А наши, наша.... Как быть с нею? – Осмелев вдруг, спросила она.

– Что такое? – Рассердился он вечной глупости бабской. – Да что тебе надо-то от меня? – Не стыдись нагрубил он.

– Я спрашиваю, что будет с нашей Родиной, если мы все

её покинем? Кому достанется она? – Переспросила та, от которой менее других ожидалось твёрдости.

– Кому-нибудь... – Неуверенно и презрительно слегка ответил он, и тут же пожалел.

– Как хочешь. Иди один. Я возвращаюсь, пока меня не хватились.

– Ну, а если... – Злорадно захохотал он.

– Повинюсь, да и коли накажут – то за дело. А тебе – счастливого пути.

Он глядел ей вслед, а она не обернулась ни разу, только на полпути к дому вздрогнула, услышав краткий удар, – то ёлха, что думала долго, упала, занозив колени. Ольха-то жива меньше человека, не то лягушки...

– Деда, это ты мне опять про лягух рассказал, про тех что мы давеча поймали в огороде?

– Про них. Лягунья с жёлтым брюшком и лягун, ей подстать. Девчущка-то с радостью в свой прудик вернулась, а тем глупцом и непоседой, что вырвался от меня, закусил уж.

– Жалко...

– Что поделать, малыш? Жизнь...

То таял день...

Который уж день, небо плело бесконечные жидкие косицы из тонких холодных и липких от того струй воды, заодно взбивая дворовую пыль на дворе в нежную скользкую кашлицу с остывшей уже пенкой, причудливо отражающей облака, но неудобной для прогулок.

Через окошко мне было видно комаров. Галсируя косыми парусами крыльев, все они были одинаково неприятны и своим писклявым сопрано, и задиристым нравом. От нечего делать я присматривался к ним, и спустя некоторое время заметил, сколь различий в характере даже у насекомых.

Более расчётливые из комаров, так представлялось со стороны, на обывательский лад, медлили, примеривались, прежде чем взлететь. Впрочем, избежав ударов одних дождевых капель, как судьбы, они почти сразу попадались под хлыст других, и обрушивались серыми комочками со слипшимися крылышками куда-то вниз, за подоконник.

Те же, которые безрассудно кидались под дождь и казалось должны бы были быть повержены первыми, напротив, — добирались до укрытия невредимыми.

Наскучив комарами, я поискал, чем бы ещё себя развлечь, и разглядел божью коровку, которая бегала по краю цветочной клумбы, как по барьеру цирковой арены. Выпустив чёрный кружевной подол крыл из-под туго накрахмаленной оранжевой накидки с горохами в тон, она кокетливо, заметно едва, склонила головку набок и не обращая внимания по сторонам, ступала более степенно, нежели неторопливо.

– И как только не закружится голова! – Восхитился я вслух, и понял вдруг, сколь напрасно трачу драгоценные минуты собственной жизни, тогда как всякая букашка чем-то занята. Устыдившись, я не стал медлить, словно тот комар, а прихватив полотенце, вышел под дождь.

По дороге к реке и после, когда я уже несколько накупался, так что даже слегка озяб, я чувствовал, как по щекам стекают капли воды, но это были не слёзы. То день таял на лице.

Безмятежное

После ливня в ночи, разошедшегося не на шутку, округа пожинала богатый урожай жаб с лягушками всех окрасов и мастей. Там были и цвета серого в белых прожилках мрамора, и ярко-зелёные с тусклыми изумрудными камнями, и простые, от земли, будто ровные ломтики рыжей или голубой глины с янтарной крошкой глаз. Взирая на уголок земли, раскрывший для них объятия, лягушата не отражали его очертаний, как нападение, но доверчиво внимали, льнули к нему наивно и безыскусно.

Небо, жемчужное в этот час, разглядывало их без особого любопытства, но пытливо, с той долей заботы, что надлежит испытать на себе всем новоприбывшим.

Не подозревая подвоха, заведомо сочтя всё и вся за благо, лягушата охотно давались в руки, не чурались немудрёных ласк и прикосновений, но в этом-то и заключалась злая шутка жизни. Беззащитность, очевидная хрупкость появившихся впервые или случившихся вновь, не была им охранной грамотой. Всё – на усмотрение, по милости, разумению или недомыслию.

И если люди были хотя иногда и неловки, но спросонья ещё добры, а алчность ужа умерила ночная прохлада, то цап-

ля уже была готова распорядиться подать себе на завтрак «и тех, с прожилками, и вот тех вот, в зелёном, и несколько голубых, на ваш выбор, да поскорее»... И ведь не поставить ей того в вину...

Неведомо кем и как, с какого именно такта партитуры этого дня, но утро было сыграно безукоризненно, и полный гнева рассвет гнал цаплю прочь. Недовольная, надменная, она удалялась с неприятным гортанным криком, что едва поспевал за взмахом ея крыл.

А лягушата... Те любовались безмятежно листьями в серьгах росы, не ведая ни о чём.

Летняя сказочка

С раннего утра, несмело выглядывая из-за волосатых кустов крапивы, как из-за спины хранительницы от зла и нечистой силы, лягушата едва слышно гавкали на крошечных жаб, детскими, нарисованными голосами. Выглядело это и звучало так потешно, что хотелось посадить раздражённую первобытным испугом малышню перед собой, и заставить помириться.

– Пожмите друг другу руки! – Сказал бы им я с серьёзным видом, а они б... Интересно, что бы тогда сказали крошечные жабы и едва различимые глазом лягушки.

Ведь разные они, хотя и путают их постоянно. А и как милы! – руки с крошечными пальчиками, бледный животишко и эта манера, – жадно, большими кусками, заглатывать небо, что отражается в их навывкате, будто с перепугу, глазах. Да, коли суждено им не пропасть, покуда растут, то будут поставлены днями стеречь на воде блики солнца, ночами – сырой блинчик луны, а до той поры... Экие оне, дуэлянты!

И махнула капустница проворно белым платочком:

– Сходитесь!

Ну, так и сошлись бы, и сразились, коли б хотя один из них дрогнул, а не стояли оба недвижимы, как полагается воинам

или чудаковату мальцу, что самому боязно от своей отваги. Да и пошли бы не в рукопашную, но померились бы другой силою, – голоса, – чей мелодичнее и приветнее со стороны. Ан нет, малы ещё те песни петь, щёки покамест не наели, нет резону драть глотку, коли не отыскался бондарь, что смастерит подходящую им палубу¹⁹.

К полудню боевой задор лягушат и маленьких жаб заметно поубавился. Разомлели они под приглядом солнышка, поправились заодно, разбрелись кто куда. Под траву чистотела и широкие листья хрена, – в первую голову. Одних много, другой сам по себе велик, – тянет ладони к небушку, дабы тронуть его за мыльную щёку, но всё не дотянется никак.

¹⁹ дека, палуба музыкального орудия, речь идёт о резонаторе земноводным, при помощи которых усиливается призывного звучания в брачный период

По-настоящему...

Думали ли мы детьми, во что, как кутят, ткнёт нас носом судьба? Понимали ли конечность времени, сумели ли насладиться вполне безмятежностью, малым знанием жизни и большими её радостями? Куда там. Суета прочего мира отвлекала нас от созерцания, и не было шанса расслышать, понять истин, на которые так щедры пожившие, познавшие, позабывшие о поспешности, как об одной из немногих глупых примет взросления.

К чему надо относиться серьёзно? О чём переживать по-настоящему? Кажется, во всякую минуту есть то, что сокрушит дух, и ты готов, как то дерево, что скрепя сердце и скрипя стволом терпело над собою долго, пасть, занозив колени, не ведая, достанет ли сил подняться.

Да коли ты не таков, и в бесчувствии не от большого ума, но по расчёту, много ли в тебе человека? Вопрос...

– Вы знаете, ваша дочь сорвала урок! – Красная от гнева завуч пыталась воспламенить обстановку в учительской полным ярости взглядом, но спокойный голос отца плеснул порядочно воды на тот огонь:

– И какой же именно урок?

– Иностранный!

– Странно. – Усмехнулся отец. – Разве она не успевает?

– Я вижу, вы не понимаете серьёзности... – Начала было педагог.

– Это вы не понимаете. – С оскорбительной предупредительностью прервал её отец. – Вы отнимаете наше время. У нас через час тренировка. Сорванный урок – это единственная претензия к моей дочери?

– Да... но...

– Я задал вопрос! – Отец был до неприличия весел, и завуч не оставалось ничего, как, обратиться ко мне:

– Это ты опустила монетку в замочную скважину класса?

– Я!

– Ну, вы только посмотрите, с какой гордостью она это говорит! – Завуч приглашала присутствующих в учительской предметников, специалистов точных, неточных и приближенных наук, разделить с нею свой гнев, но все смотрели на то, что скажет мой отец, и он не разочаровал:

– Вы спросили, получили ответ, между прочим, совершенно честный, думаю, инцидент исчерпан. Нам пора. Мы уходим.

Спускаясь по ступеням с этажа на этаж, я тронула отца за руку, но тот, сквозь оскал улыбки, процедил:

– Не теперь.

И уже на улице, совершенно миролюбиво он поинтересо-

вался:

– Ну, и зачем?

– Пап, да ребята боялись контрольной, мне их стало так жалко...

– А ты? Не боялась?

– Нет, конечно! – Рассмеялась я.

– Ну и молодец.

Думали ли мы, когда были детьми, во что, как кутят, ткнёт нас носом судьба? Понимали ли конечность отпущенного нам времени, сумели ли насладиться безмятежностью, защищённостью и близостью любимых людей, которые всегда были на той стороне, где мы...

Повод...

Ветер пожимал лапу сосны, тряс её, будто не видались давно. Он делал то с сердцем, чистым ещё, незамутнённым хмарью осенних дождей, в которых не понять чего больше – правды или сора суеты.

Филин, наблюдая за тем с нежностью, свистал несмело, опасаясь спугнуть и чувство, и сумерки.

Пренебрегая настоящим, прошлое растворялось в будущем. Запоздалое сожаление о нём, мешало познать истинные причины его поспешности, а смятение делало виноватым перед всеми, и заставляло каяться бесконечно и беспричинно... И где ж были тогда все те, которые после станут превозносить его!? Подозревая в том дне, кроме добрых, иные побуждения, они опасались дозволить ему вздохнуть полной грудью, просили гарантий и залога. А что, кроме своего честного слова, он мог им вручить?

Вы говорите, то, что плохо, случается враз, само собой?! И не приготовлено оно вашими собственными руками, когда, подкрадываясь к несчастью на цыпочках, как к пьющей воду гадуке, вам, неожиданно для самого себя становится вдруг жаль змеи. Из-за очевидности снедающей её жажды, препона ужаса рассеивается отчасти, уступая место сочувствию, даёт

случай проверить, каковы вы, минуя собственное лукавство и стороннюю волю составить нелестное мнение об вас.

...Едва глотнув, гадюка неохотно прервалась, отзываясь на то, как земля, в такт шагам, трясёт её за плечо, побуждая бежать. А она... Поглядела с мольбой, хоть не верит давно никому, положила на честь, да приникла к воде, где нечаянный жук и жаленье себя, будто жало. Удалилась немного спустя, слившись с тенью, как в награду тому, кто легко отыскивает повод иль оправдание собственной неблагодарности.

– Мудрите вы, батенька. Ну, не ударили вы ту гадюку веслом, а дали напиться и уйти. Что ж с того? Я же там был, и всё видел!

– Были. Видели. Да поняли не всё и совсем не так.

Кастет

В каждую ночь с пятницы на субботу моего детства, воздух родного города делался густым. Прочие дни недели не изменяли плавному течению жизни. Зелёные ковры полян, прочно прибитые к округе золотыми гвоздями одуванчиков, предлагали скинуть сандалии и поиграть с кузнечиками, что подначивали прыгать наперегонки. Мягкий от жары асфальт тянулся ириской, а дни медленно, думая о чём-то своём, взбирались на горку полдня, и только после шли немного скорее в прохладную тень сумерек. Впрочем, ввечеру шар солнца не торопился слиться с лузой горизонта, запятнав себя излишней суетливостью, но выгадывал время на посиделки за ужином под долгие разговоры и беспокойство хозяйки: «Вам пожиже или покрепче? Ещё кипятку? Берите варенье, сама варила!»

Наевшись до отвала чёрного хлеба напополам с вишневым и клубничным вареньем, я сидел, почти не дыша, слушая рассказы взрослых о том, какими они были когда-то. С жадностью внимал всему, что показывалось из-за пыльного занавеса их прошлого, я не подозревал, что и моё собственное готовится прямо теперь, в этот самый час. Впрочем, на самом интересном месте кто-то замечал, что мне давно пора спать, и занавес падал на прежнее место.

К утру субботы небо предусмотрительно или загодя хмурилось. Некто перемешивал его большой поварёшкой, и черпая по дну, касался земли, поднимая вместе с сором тонкую пыль, а заодно прибывая книзу серые облака. Взрослые заметно нервничали, а я забегал в комнату к деду и прятал лицо у него в коленях:

– Ну, ты чего ластишься? – Грустно усмехался дед и, царапая жёсткой ладонью по волосам, успокаивал, – не бойсь, оне все мимо.

– Но я ж их слышу, деда!

– А я нет! – Неумело врал он, и посылал меня помочь бабушке, а не отвлекать его от дела.

Дед имел обыкновение читать субботним утром газеты, коих набиралась за неделю целая стопка. Я иногда спрашивал, отчего он не прочитывает их свежими.

– Глаза берегу! – Серьёзно отвечивал дед, доставая с полки шифоньера завёрнутые в тряпицу очки. – У тебя глазки молодые, мало ещё видели, тебе можно и под одеялом почитать, а мои повидали всякого на своём веку, надо с ними аккуратнее, не растрачивать попусту.

Отправленный «помогать бабушке», я по-большей части мешался у неё под ногами, снимал пробу на сахар и соль, да клянчил слепить что-то из теста, и пыхтел на углу стола, просыпая на пол муку. Чтобы я не задумал, у меня выходил танк, но так как на «выкрасить его зелёнкой и приклеить к

башне красную звёздочку из бумаги» бабушка ни за что не соглашалась, то я сминал его в колобок и со словами:

– Ты только испеки, пожалуйста, я его съем! – Вручал бабуле.

– Испеку. – Обещала она. – Но вот успеешь ли отведать, в этом я не уверена.

– Почему? – Пугался я притворно.

– Лиса, да волк с самой ночи под окном сидят, ждут, куда твой колобок выкатится из фортки...

Вот это бабушка сказала напрасно. Я глянул на открытую форточку и окошко, про которое уже подзабыл, а там... Там продолжалось то самое, из-за чего я ненавидел утро субботы. С разных сторон, группами и поодиночке, взрослые мужики и парни становились в две линии друг напротив друга, лицом к лицу. Каждый из них глядел исподлобья, играл желваками для растравливания в себе ненависти, ровно как и для устрашения. Строй проходящих растягивался от дороги до пригорка, что спускался к болоту. Когда места в ряду больше не осталось, начал заполняться второй ряд, третий... Несмотря на то, что всё происходило в полном молчании, затаённое напряжение неизменно сообщалось воздуху подле них, из-за чего тот вибрировал, создавая некий непереносимый сердцем гул.

– Ба... – Я подёргал бабушку за передник. – Там – опять.

– Ну, что делать, не смотри. Иди, почитай. – Дрожащим голосом предложила она.

– Боюсь.

– А ты не бойся, нехорошо это, расходовать себя на страх, не для того тебя мама родила... – Начала было воспитывать меня бабушка, как и сама смолкла из-за нарастающего воя мужиков, которые уже не сдерживали себя, а повинуюсь заведённому издавна порядку, решились выплеснуть недовольство собой на хворающих тем же недугом.

СтенОшный бой давно перестал быть народной забавой, а самобичевание заразно, да ещё эдаким образом, когда и лежачего затопчут, и свинчаткой не побрезгают вдарить, так что есть риск остаться без чего-то нужного: глаза, уха, нутра или вовсе не подняться с земли, как это уже бывало не раз, прямо у нас на виду...

Мы с бабушкой прильнули к окну не из любопытства, но словно те два кролика, которых удав заманивает к себе в утробу ритмичными телодвижениями. До первой крови это было похоже на то, как волна бьётся о каменную стену, оставляя алую пену на берегу. Только не от рассветного солнца она сделалась вскоре красна.

Заворожённые, мы с бабушкой следили за тем, как, не помня себя, бегут друг на друга люди с обагрёнными яро-

стью лицами, и белыми от гнева глазами, сквозь поднявшуюся пыль они отчего-то были очень хорошо видны даже издали.

Не знаю, чтобы было с нами, если бы не оклик деда:

– А ну-ка, брысь от окна! Вороны! Задёрнуть занавеску! Марш!

И вот уже я сижу на скамеечке и читаю вслух бабушке газету, сам не понимая о чём, а она шинкует жгут теста на ровные части, как капусту.

– Ты пельмени будешь лепить, что ли? – Окликнул бабушку дед.

– Пирожки... – Ответила бабушка.

– А чего ж так мелко-то? – Беззлобно, с нежностью укорил её дед, и бабушка, что называется, очухалась, слепила все куски в один, и раскатала, как обычно.

Что и говорить, всякий раз тяжело было приходиться в себя после увиденного. Став чуть старше, я однажды сам едва не попал под раздачу, когда шёл от молочницы с бидоном. Из толпы дерущихся мне навстречу выбежал один, – в изорванной рубахе, с разорванным ртом. Не столь от испуга, как от неожиданности, я остановился дожидаться нападения, и был бы знатно избит, коли бы не хлёсткий перехват за кисть направленного мне в лицо удара. После хриплого: «Беги-как

ты лучше домой, малец», я пришёл в себя, поспешил домой, и хотя по дороге потерял крышку от бидона, молока не пролил.

Но это было несколькими годами позже, а вечером того дня, когда дед укладывал меня спать, я спросил у него, отчего это бывает, то, что происходит каждое субботнее утро, и, если оно не прекратится, когда я вырасту, – нельзя ли мне как-нибудь смастерить кастет из свинцовой чушки, что пылится в кладовой.

Дед грозно поглядел на меня тогда, вздохнул, и...:
– Отольём. – Просто сказал он, погладив по голове.

Надеялся, наверное, что забуду про это по малолетству или не понадобится мне вовсе никогда.

По течению реки

Небо выглядело так, будто его несколько потёрли наждаком или крупным речным песком. Обложенный, болезненный язычок луны дразнил утро, что проглядывало сквозь сумерки и вполне очевидно стеснялось выходить.

Измятая кудрями поворотов, пропахшая на изломах мятой, река успевала провести по длинным, мытым волосам водорослей, полюбоваться на рыб и ракушек, а то и поиграть с песком, особенно на отмелях, там где брод и едва по щиколотку, да не всякая порожняя плоскодонка проскочит, а гружёная, так и вовсе Проведут её, ухватившись за борт, в закатанных до колена штанах, проскребёт она пузом по дну с важным звенящим скрипом, ну а дальше, как по маслу.

Крепкая рука течения увлекала реку за собой, и та не могла с этим ничего поделать. Спешка хотя и наскучила ей слегка, была привычна. Остающиеся позади берега, населённые и безлюдные, несомненно развлекали реку, но ведь и для дитяти не во всякий час погремушка хороша. Иногда хочется покоя и от неё.

На этот случай у реки, как у иной девицы имелись свои секреты. Лукошки затонов с островами и без, глубокие и не

очень, в которых гостили гуси-лебеди с ребятишками, справные сомы по паре на омут, да суетливые водники²⁰, что в каждую минуту в другом месте.

И уж так старалась речка обиходить каждый такой тихий уголок!

Обшивала по краю рогозом с камышом, а гладью по водной глади – кувшинками с кубышками, – для ровного цвету, для радости бытия и на погляд. Ну, а касаясь лягушек и стрекоз, этого добра там тоже во всякое время полные горсти, без них никак, без оных, может и тихо, да гадко. Жизни мало!

Так вот бежит, бывало, речка, торопится, а сама сияет под солнышком, припоминая, каково там в затонах, – красиво и ладно... А то, что самой там редко бывать, – ну и ладно! Коли другим от того счастье приключится, и её добрым словом вспомянут.

Речка – реченька... Плавно её течение, как речь человека, – коли честна, чиста и не бранна, да подле сердешного друга и колыбели, либо из уст старца, которому некуда больше спешить²¹...

²⁰ выдра – название Воронежской губернии

²¹ фраза созвучна со строкой из романа «Ямщик, не гони лошадей», на стихи русского поэта немецкого происхождения Николая Александровича фон Риттера (22.01 1846 – 1919)

Не самое худшее из зол...

– Только мы разохотились, раскушали лето, а оно – вон чего, засобиралось уходить. Укладывает рюкзаки, стягивает ремнями чемоданы и бросает жребий, – кому вскорости улетать, которому прятаться, кому первому, да в который черёд. И чего не сидится на месте?

– А ты как хотел?

– Ну, к примеру, чтобы лето не как теперь, а в два раза дольше – это первое дело! Осень же такую, чтобы тихая, с нескоро остывающей под солнцем округой, прохладными утренниками и янтарными зорями, со стынувшей день ото дня водой.

– И чего ж хорошего? Купаниев-то уже не выйдет.

– Чего это? Ты в Крещение окунаешься в иордань?

– Ну, как и все!

– И здоров после?!

– Не жалуюсь...

– Таки вот! Осенью вода, хотя холоднее с каждым днём и гуще, а всё не та, что зимой в проруби. Летняя река суетлива, а осенняя степенна, прозрачна.

Всю муть прибило ко дну, частью осела на длинных ру-

кавах водорослей. Не то с лодки, – с берега заметно иную рыбку. Как стоит она подле толстого, с руку, корня кувшинки, думает о своём, передними плавничками эдак мелко трепещет, будто пальчиками перебирает, а губами пожёвывает сладко, словно покушала только что, – блинов со сметаной или другого чего, но сочного, да жирного.

К кружевному подолу волны пристают разноцветные лодочки листвы, ретушь трав на просвет ранним утром делает более заметной всякую прелесть округи: плавный обвод подбородка пригорка, излом скулы песчаного оврага.

А ночами луна плавится в воде неровной дорожкой, и течение уносит её за небритую щёку изгиба реки. Рябое мелководье небес и они же, в обнимку с волной сходящего на нет берега. Нёбо неба саднит от чрезмерной его глубины и голубизны...

- Судя по тому, как... оно и осень – ещё ничего?
- Выходит, что так. Не самое худшее из всех зол.

Французская булка

Французская булка по шесть копеек. Белая, с золотистым рубчиком, хрустящая со всех сторон даже на вид, с едва заметным намёком на сладость. Из разряда простых кушаний, которые не надоедают и сочетаются с первым, вторым, ну и, разумеется, – с компотом тоже.

Терпеть её не могу. Спросите почему, и я отвечу. Но не сразу, а так, как обыкновенно делали это в моём детстве старики. Начиная повествование чуть ли не с Царя Гороха, они удерживали слушателя подле себя подольше, иногда для верности прихватив его за рукав, и исподволь подводили к финалу.

Итак. Было это в пору, когда войско тараканов, если кто из озорства или за надобностью включал в кухне свет, при отступлении под стол могло шутя прихватить с собой слепого котёнка, выпавшего из коробки у батареи.

А клопы, манкируя ножками кровати, поставленными в наполненные керосином консервные банки, по стенам забирались на потолок, и прыгали оттуда в тёплые постели. Случалось, в самый патетический момент.

В те же послевоенные годы дети прорезывали первый зуб

о трофейную костяшку домино, сделанную из бивня невинно убиенного слоника. Кости были в веснушках чёрных точек, и коли помнится верно – вкусные, да шершавые. Ну, не аппетитнее той французской булки, само собой.

А что до неё... Было дело. Пospорил отец во время обеденного перерыва, что в два укуса проглотит французскую булку. На что спорили – уже не припомню, но подавился вторым куском, да так, что чуть не помер. Заработал он на этом спазм голосовой щели, знакомый с детства медицинский термин, при котором горло отца сжималось, когда вздыхает, просто ни с чего, не давая воздуху пройти. Я пугался, глядя на то, как он вскакивает вдруг из-за стола и пытается вдохнуть. С годами эта хворь умерила пыл немного, и хорошо, что так, а то не было бы и меня, и этого рассказа. Впрочем, для вселенной то была бы малозначимая потеря, а вот отец... Его было бы жаль. И не хватало бы. Многим.

Хороший был... человек...

Наяву

Он стоял и, дабы не дать выкатиться слезам, задрал голову, шурился на размазанные пальцем ветра мелкие тучки. Они казались выбившимися из подушки мелкими, щекотными перьями. Такие не доставляют неудобства, не будят посреди ночи бесцеремонно шпыняя в щёку, непостижимым образом поправ и наперник и наволочку.

С раннего детства его принуждали сдерживать себя во всём. Голоден? Терпи, когда сядут за стол взрослые. И он крепился, сжимая в руках маленькую жёлтую эмалированную мисочку. Урчание в желудке довольно скоро сменялось жаром. Пытаясь обмануть голод, он втягивал живот как можно сильнее, до боли, но это помогало мало. После, когда ему, разумеется не первому, наливали в эту мисочку похлёбки, мать следила за тем, чтобы он ел медленно и аккуратно. На предложение повара подлить мальчику, мать отвечала:

– Ему хватит! – И тут же принималась управлять им, разочарованным донельзя:

– Не жадничай! Не торопись! Куда тебе столько? – Говорила она под каждую ложку, портя тем и аппетит, и самую долгожданную трапезу.

Ему не позволялась бояться чего-либо и иметь собствен-

ные желания. Послушание, – безукоризненное, абсолютное, – навязывалось, прививалось и вбивалось ежедневно. Только вот, он был слишком счастлив фактом своего появления на свет, самой жизнью, так что все попытки подчинить его сторонней воле казались недоразумением, не принимались всерьёз, хотя и доставляли много неприятных, горьких, страшных минут.

– Необходимо не выказывать эмоции, не давать им волю!

– Но как, в таком разе, познать себя истинного?

– Всё придёт, в своё время!

– Но я же не узнаю то, что придёт и провороню его...

– И что? Не выпячивай себя, меньше конфуза. Всё должно быть в меру!

– Но ведь у каждого она своя...

– Не дерзи.

Даже во сне он не мог быть самим собой. Сны, – яркие, счастливые, – тревожили до зубовного скрежета, но мать неизменно будила его, заставляя перестать, а наутро поила отваром из семечек тебека²², кормила толчёным чесноком на молоке, даже водила к доктору, да всё без толку, – не в силах противостоять родительскому напору наяву, он отвоевал себе этот скрип ценой собственных зубов.

²² нижегородское название тыквы

Ему давно уж нечем скрипеть во сне ни от ярости, ни от злости, как делал это в детстве, пугая мать. Да и запас внутренней радости, что некогда играючи уравнивал постоянное, навязанное недовольство собою, почти иссяк. Незанятое ничем место, заполнилось досадой неминуемого взросления, когда внезапно, как на голову снегом, обрушилось осознание того, что родители не всеильны, но ветшают и вянут с каждым днём, как цветы, а тебе так и не хватило: не их любви, не тепла, не их молодости. Только придирки без счёта и колкости, да умение уязвить побольнее, бесконечные осуждения и неверие, – тебе и в тебя. Этого – сколько хочешь, сполна.

Проржавевшие на осенних дождях сосны... Мерцание на ветру травы... Или это проявление слабости, и то слёзы дрожат на ресницах, мешая смотреть на мир вокруг.

Детский сад

– Мария Алексеевна! Вы неправильно говорите! Нет такого слова – «лОжить», правильно говорить – «класть».

– Ах, и что же ты будешь делать, когда пойдёшь в школу? Такой умный... – С плохо скрытой ненавистью ответила воспитатель. – Иди-ка, я посмотрю, чистые ли у тебя руки.

– Чистые!

– Мало ли! Подойди.

Сегодня понедельник. Вчера мама выкупала меня, и аккуратно постригла ногти. Не ожидая подвоха, я иду к Марии Алексеевне.

– Ха! Ты что, девочка?! – Хищно воскликнула воспитатель, и ухватив меня за плечо, потащила в угол группы к своему столу, где, вооружившись большими ножницами, нависла надо мной своим огромным телом, так что чудится, будто с минуты на минуту я лишусь не то красивого полукружия ноготков, но и самих рук.

– Мне мама ...вчера! – Чуть не плачу я, пытаюсь остановить Марию Алексеевну, но она неумолима, а состригая «до мяса», так что кончики моих пальцев краснеют и саднят, улыбается злорадно.

После экзекуции я гляжу на ладошки и проверяю, всё ли на месте, стараясь сдержать слёзы, ибо не так глуп, чтобы не понять, – это расплата за «науку». Мария Алексеевна не любит, когда я поправляю её, но она так часто коверкает красивую русскую речь, что я не могу сдержаться.

Среди воспитанников детского сада у меня был единственный товарищ – цыганёнок Вадим, его папа – точь в точь Яшка из «Неуловимых мстителей», явно благоволил мне, и обещал при каждой встрече непременно отдать за меня свою младшую дочь, когда я немного подрасту. Я не понимал, зачем мне девчонка, но решил, что, раз мама не родила мне сестру сама, то сойдёт и такая, подарёнка. Мы с Вадиком, если он не был болен, играли только вдвоём, а болел он, к моей досаде, очень часто.

Ходить в садик я не любил. Мария Алексеевна выделяла меня из прочих ребят, ставила в пример, но как-то неправильно, не по-доброму. Бывало, усадит всех ребят кругом на веранде, и говорит, что сейчас прочтёт стихотворение. Тот, кто первым повторит его наизусть, сможет отправиться гулять, а остальные, в назидание, останутся на веранде до обеда. Ну, так и декламировал я это стихотворение с выражением, едва прослушав, чего там сложного? Мария Ивановна очень злилась, из-за того, так как была вынуждена следить за

мною одним, а не идти на кухню пить компот из чернослива, поручив пригляд за детьми нянечке.

По утрам, едва за мамой закрывалась дверь детского сада, я не скрываясь принимался тосковать по ней, несмотря на насмешки ребят, которые задирались, говорили, что я «как маленький» и прилип маминой юбке. Эта, отчасти правда, отчасти ложь, обижала. Несомненно, я был сердечно привязан к матери, но в остальном... Я давно уже читал книги для школьников, а товарищи по группе не знали даже букв, поэтому-то считал малышами именно их, а не себя.

Тем днём, который оказался последним в моей карьере воспитанника детского сада, всё было как обычно: вошедшая в привычку мольба оставить меня дома, умывание, сборы...

– Мам! Ну, я тихонько посижу дома, пока ты не вернёшься с работы!

– Один?! Ни в коем случае!

– Я ничего не разобью!

– Не в этом дело...

– Ну, пожалуйста! Я буду тихо сидеть на стульчике и читать!

– Девять часов подряд?! А завтрак, обед и полдник?! А дневной сон?

– Я могу не есть, и честно-пречестно обещаю, что посплю!

– И речи быть не может. Не рви мне сердце, сынок, одевайся поскорее, а то опоздаем.

Ох... лучше бы мы опоздали.

Стоя у окна раздевалки, я смотрел на маму, которая, торопясь успеть на проходную, ступает прямо по лужам. Мне представилось, как холодно и мокро теперь её ногам, что ей негде будет посушить чулки и обувь, а к концу рабочего дня она совсем окоченеет, простудится, станет кашлять, заболеет и...

– Ну-ка, марш в группу, нечего тут торчать. – От свирепого окрика Марии Алексеевны я вздрогнул, но зарыдал вовсе не от него. – Иди... нюня! – Поторопила воспитатель, подтолкнув меня в группу.

Именно таким, с лицом красным от слёз, я туда и вошёл. Обступившие со всех сторон дети смеялись, кто громче, наперегонки, и по очереди выкрикивали фразу, смысл которой дошёл до меня не сразу:

«Мама за тобой не придёт!» – Кричали они наперебой, а мой друг... мой бывший друг Вадим вопил громче всех: «Мама за тобой не придёт!!!»

Со всех ног я бросился к входной двери, и стал крутить колёсико замка, дабы вырваться на свободу, догнать маму, вернуть её, не дать исчезнуть из моей жизни навсегда...

Я очнулся в кабинете врача, с мокрым полотенцем на лбу. Рядом стояла мама, и с совершенно расстроенным лицом рассеянно кивала в такт словам доктора, которая что-то говорила о чрезмерной нервности ребёнка, и о том, что если «мучить чтением в этом возрасте, вот к чему это приводит»...

– Вы лишили ребёнка детства! – Заключила доктор и мы ушли домой.

Перед сном мне было слышно, как родители спорят о чём-то друг с другом, закрывшись в кухне, а утром следующего дня, когда мама ушла на службу, папа помог мне одеться и повел на остановку трамвая.

Пока мы ехали, я поглядывал то на улицы за окном, то на отца, но он по-обыкновению молчал, думая о чём-то своём. Позади, в болотистой низине у дороги, остались тополя, вода доходила им до пояса. Гора угля у ТЭЦ, что загоразивала вид на противоположный берег реки, пробежалась за трамваем, но скоро отстала.

Когда до папиной работы оставалось четыре остановки, он тронул меня за плечо и тихо спросил:

– До бабушки сам дойдёшь?

– Дойду! – Радостно ответил я.

– Так я и думал. – Подмигнул мне отец, потрепав по затылку, и помог сойти со ступенек. – Ну, беги. – Подбодрил меня он, и одним прыжком вернулся в вагон. – Только осторожно. – Крикнул отец из-за закрывшейся двери, помахав мне рукой.

Я улыбнулся отцу, и взмахнул в ответ, а пассажиры трамвая тоже улыбались и махали мне через окна, как дальние родственники, с которыми я ещё не виделся ни разу, но обязательно должен был встретить их на своём жизненном пути.

Времена года

Летит лето. Торопится, сбегая под откос себя самого. Ветер от нечего делать забавляется тем, что тянет вылинявший на солнце плат неба за обветшавший его же стараниями край. Изъеденный мельканием дней, как молью, изорванный до облаков, с налипшими птичьими пёрышками, он всё ещё крепок. Не делают боле таких платков, придётся донашивать таким, каков есть. А он, судя по всему, послужит: и нам, и, даст Бог, после.

Осень – слезливая кокетка, переменяет наряды по сту раз на дню и может так расчувствоваться из-за какого-нибудь пустяка, что от её рыданий станет скупно всему округ.

Зима нечаянна-незванна, как ни готовься к её визиту, повсегда чего-нибудь, да не достанет: то тёплой шали, то дров, то комната окажется не прибрана, вся в соре из-за расшавившегося котёнка, а вторые рамы то ли за шкапом, то ли в кладовке, – не отыщутся никак.

Весна долгожданна и капризна. Столь долгое её предвкушение обыкновенно оканчивается разочарованием, ибо те многие прелести, среди которых яркая молодая зелень и мягкие золотистые кудри солнца, закрывающие редким чубом всякий снизу вверх на него взгляд, в самом деле оборачива-

ются сквозняками, затянувшейся слякотью подле неряшливо свалявшихся буклей прошлогодней травы, всю в заплеванной паутине.

Ну и что это, если не очередное неуместное свидетельство бренности, и полное отсутствие права ожидать некоего блага извне, в то время, как оно заключено в нас самих, сколь не придумывай иную, стороннюю причину, утверждающую обратное.

Лето-осень-зима-весна, некогда названные так нами. Что это, как не отражение нашего к ним участия, продолжение ожидающей нас участи, хоть верь в это, а хотя бы и нет.

Калитка

Натужный скрип раздаётся из поднебесья. Ему в ответ стонет из дальнего угла сада калитка. Вливаясь в реку, струится, запертая ею, нехожена давно, едва приметная тропинка.

Набрякшая от сырости калитка нехотя переменяет положение, трудно даётся ей прежнее кружение, когда не было не то дня, но часу, чтобы не толкнул её кто проворно рукой.

– Не стучайте! – Требовала няня с досадливой гримасой. – Кто чинить-то станет? Ни от кого не допросишься.

– Простите, няня, мы тихонько! – С хохотом откликнулись дети, придерживая калитку нараспашку, и после прикрывали неслышно, но пропустивший нянины слова, замешкавшийся в комнатах за простынёю, торопится успеть следом, и так стучит дощатою дверцей, что пыль, да мох ссыпаются со врытого в землю столба, на надёжное плечо которого опирается она.

Это раньше та калитка видала виды, и могла, не подав голоса, дать пройти мимо тающей в чувстве девице или румянному юноше, полному страсти ко всему округ.

Девицу, впрочем, калитка делала попытки удержать, от греха подальше, прищемив подол. Бывало, что из дерзости

даже сохраняла себе на память лоскут... Ибо девы, подчас, намного безрассуднее отроков, что сжимая в руке тетрадь, ведомые той же самой тропинкой, усаживались на берег, и сливаясь сердцем с тёмным покрывалом вод, поджидали, что явится некая особа на шатком ледяном помосте лунной дорожки, прелестная в своей недосыгаемости. И только-то!

Суставы калитки опухли. Она и рада бы поскрипеть, как прежде. Если б осенило кого сдобрить постным маслом петли, она б ещё, наверное, – ого-го! Да некому нынче тревожить её покой. Ветшает всё.

Блестит слезливо под солнцем посреди заросшего двора не донесённый некогда до печи уголёк...

Натужный скрип раздаётся из поднебесья. То в Орон кинжалом клюва, наточенным рассветом, подаёт знак. Лишь трясогузка, не оглядываясь по сторонам, мирно хлопчет между грядок, присматривая за огородом, покуда хозяев нет, либо недосуг...

В духе фантазии...

– Вы какую музыку любите?

– Раньше – Бетховена, а теперь не знаю.

– Ну, а слушаете что?

– Ничего.

– Как это?!

– Сил на музыку не хватает.

– Никогда не подозревал, чтобы на это нужны какие-то там силы! Сиди себе, да следи только, дабы не оконфузиться, – не задремать и не свалиться со стула!

– Вот-вот, «не задремать»! А так нельзя! Музыка, она не поэтому, не для того! Ей нужно сопереживать, сочувствовать... сливаться с нею воедино!

– О... батенька! Как это – «сливаться»? Скажите ещё – «растворяться». Неправильно это. Не дело. Себя надо беречь. Так вас, мой милый, надолго не хватит. Жить надо рассудительно. Просят вас, к примеру, помочь, сразу не отвечайте, подумайте, нет ли у вас в этот самый день своих забот. Коли и впрямь нет, то каково будет самочувствие ваше, настроение, и не сделается ли оно хуже, в случае, если ответите согласием. А ещё лучше – откажитесь, прикиньтесь нездоровым, либо сошлитесь на дела, не тяните к себе бо-

лезни напраслиной...

После всех этих слов я поглядел на приятеля с удивлением. Мы были знакомы с гимназической поры. Наши родители считали нас чуть ли не братьями, и делая подарки одному, не обделяли другого, дабы не заронить в нас соперничества, либо ссоры. Поначалу, кажется, родные дорожили нашей дружбой больше нашего.

Ну, оно и понятно, нам не доставало опытности понять ценности нашей зарождающейся дружбы, любой пустяк мог показаться препятствием. И если бы я услышал от своего товарища нечто подобное в те юные годы, то по горячности прервал бы с ним знакомство на веки вечные. А нынче? Увы, я был менее пылок или куда как более благоразумен. И хотя мне не пришлось по душе советы приятеля, я лишь вздохнул и промолчал.

– Ну, вот! – Заметил моё состояние пронизательный друг. – Я вас расстроил.

– Нисколько... – Начал было я, но был прерван:

– Я знаю вас, как облупленного. И понимаю, что не примет ваша душа мои советы про осторожность. Но только и вы меня поймите! Вы у меня – единственный друг. Вы же за многие годы умудрились обрасти знакомствами и всем нуж-

ны, вас всюду зовут, но вот, ради истины, припомните, – когда вас подкосила та страшная горячка, кто ходил к вам, дежурил подле постели, переменяя полотенца на лбу и давая запить микстуру? Кто из тех многих, которым вы так рвётесь теперь помочь, позаботился о том, чтобы вовремя переменить вашу постель, вынести таз с водой или хотя бы просто – посидеть рядом, держа за руку, рассказать губернские сплетни или даже прочесть из Чехова? Кому, кроме меня, вы были интересны?!

Выслушав товарища, я почувствовал раскаяние, а слёзы, проступившие на щеках, обнаружили всю глубину моей горечи. Приятель был совершенно прав, – он оказался единственным, не ожидавшим от меня услуги, другом, которому было необходимо, чтобы я... был! И ничего кроме.

Приобняв за плечи, мой друг повёл меня к себе, и усадив на диван в гостиной, медленно подошёл к роялю.

– Вы ж не играете... – Удивился я, но друг, словно не слыша меня из-за заметного волнения, наклонился над клавишами, будто примеряясь к ним и заиграл.

То был Бетховен, его Лунная, «в духе фантазии», соната номер четырнадцать. Обычная эта мелодия, слышанная не раз, звучала теперь так, как никогда раньше. Она была тро-

гательна, уютна и проста, словно свет всех тех лун, что сопровождали наши совместные прогулки с самого детства и по сию пору.

Как только мой друг закончил играть, я подбежал к нему, крепко обнял и спросил:

– Но как?! Как?! Вы же бросили учиться, не начав!

И получил ответ, сродни разом вонзённого в доску гвоздя, что не вытащить после никакими усилиями:

– Когда вы были в беспамятстве, то бредили этой сонатой. Я не умел её сыграть, а те из ваших знакомых, что смогли бы, боялись заразиться. И потому я решился сделать это для вас сам, подписал каждую ноту партитуры цифирью, и учил. Просто, к моему счастью, вы пошли на поправку раньше, чем я смог разучить эту вещь.

– Так вот почему вы спросили, какую музыку я люблю!

– Мне очень хотелось порадовать вас, хотя и с опозданием...

– Друг мой! Единственный мой друг! – Воскликнул я и зарыдал, спрятав лицо у него на груди.

Многие мои знакомые приняли бы эти слёзы на счёт слабости после перенесённой горячки, и только мой друг знал, как я благодарен ему.

Суета

Мираж лунной дорожки парит в ночи, манит к себе взгляды, рождая побуждения тронуть, ступить. зачерпнуть ладонью сие сияние, дабы отпить и стать частью, либо одним целым.

– Ночь, утренняя и вечерние зори, известно чем хороши, но полдень? В чём его прелесть кроме того, что вскорости после него – время обеда?

– Это когда? Обыкновенно или в этот самый час?

– Ну, да. Хотя бы и теперь.

– Сделай милость, посмотри наверх, туда, где Африка облаком медленно плывёт над головой...

– ...в мутном океане неба...

– Отчего ж мутном?

– Так дна не видно.

– Значит, бездонное оно!

– А рыб-то всё одно не видать...

– Что ж касаемо самого полудня... В ответ зрелому, мягкому по осенней старости солнцу, вишневые листья, покрытые веснушками, делаются тогда совершенно прозрачны и совершенны.

Они будто сливаются с горячим воздухом, тают в его безмолвном пламени.

Беззвучный вертолет стрекозы клонится набок, выглядывая место поудобнее, и не может его отыскать не от того, что того нет, а ибо ему по нраву и лестно, как солнце присматривает за округой сквозь пенсне его крыл в тонкой серебряной оправе. Все больше милостей от него вослед уходящему лету.

Соловей, набрав дождевой воды в рот, изъясняется чаще знаками, и от того кажется незнакомым.

Капустница мечется промеж пустующих ветвей, не выберет никак, чью первой утолить печаль, ибо ей жаль всех.

Оса наспех лепит картонную бабу гнезда на одинокий столб, как на земную ось. Это всё что осталось от дровяного сарая, что и сам давно уж пошел на то, чему ещё совсем недавно оказывал покровительство, опекал, сутулясь под дождями и снегом.

– Ну... И как тебе теперь полдень?

– Хорош.

– Правда?

– Угу. Гляди, как ветер разметал Африку на многие острова. Арабы были мудры, сочиняя ей имя.²³

²³ Название «Африка» придумали арабы, и слово «фарака» переводится как «разделять», «отделять одно от другого»

– Когда это было...

– Да, когда б не было! Зато теперь, – мякотью неспелого арбуза почудится она любому, кто б ни глянул вверх. Да только не всякий оторвёт взгляд от дороги, по которой ступает.

– Ибо недосуг?

– Суета, знаешь ли. Суета.

Родня

А и замешкалось солнышко на вечерней зорьке, да и запуталось посреди ветвей дуба, украсив его собой, ровно как золочёный стеклянный шар, что один может придать красоты всей Рождественской ели. С умыслом, нет ли, а задержалось солнце на дереве, сколь могло долго.

Ветки наполнились светом, словно кровью, листья стоящих близко вишен, и те вобрали в себя янтарных бликов. Пусть не все, через один, но будто вновь заневестилась вишня, хотя и не белым весенним цветом.

Глядя, как раззадорилось светило, а с ним и всё округ, принялись ветер с луной понукать его поскорее идти спать. Но всё без толку.

Это раньше бывало такое, когда за ним и не углядишь, – чуть устроит головушку на подушке леса, развалится на перине тучки, юркнет под белую простынку облака, и давай сны смотреть, звёзды считать, о хорошем загадывать. Тут уж до утра не добудишься, не допросишься. Ныне не так. Дорожит солнышко всяким мигом, как бы лучшим своим лучиком, – лелеет его, тянет стройной ножкой, либо тронет драгоценным пальчиком...

– Вот и туман – таков точно. – Бормочет озадаченный ветер луне. – Тащишь его за руку, а он влажный скользкий, нейдёт, вырывается, рвётся, ну и растянется, разляжется повсюду, так что кажется – пал в ноги, а в самом-то деле – хитёр, и не более того.

Луна ж в ответ безмолвствует. Зависима она от солнца, светла его светом, а туман – не меньше, как её младший брат. Пусть и названный, а всё одно – родня.

Подражательство

Самая крупная жемчужина небес – луна, с улыбкой взирала на то, как вздрагивает у неё под ногами трава. То сонм маленьких лягушат волновал мокрый после дождя ворс разнотравья. Многим из них вскоре не быть, и даже когда с головою скроет вода, из ила пруда их добудут ужи, либо цапли. Но кто уцелеет, тронет сердце своею приятностью и простотой.

Сил немного у них, часто вдруг становясь недвижимы, слушают мира дыхание, мерно и мирно. Вздохи совы и косули к другой поношенье, скрежет улиток, которые громко грызут, что под ногу попало, тикают будто.

Но покуда идут, а идут по компАсу²⁴, недосуг лягушатам считать часы или дни, иль минуты...

Не предъявляя прав на престолы пней, обитые зелёным плисом мха, что попадают им на пути, лягушата спешат напролом, не считаясь с препятствиями, не считая препятствием никого из тех, кто не сделает им скидки ни на наивность, ни на младость. От того-то и гонит закат цаплю спать, тем случай даёт, пусть не всем, но добраться.

– Туда, где окажется спасён?!

– Где поменьше едоков на их лягушачью братию, да и то,

²⁴ лягушки мигрируют, ориентируясь на магнитное поле земли

бывает, что подчистую их всех...

– Жаль. Уж больно милы.

Спустя ночь, когда солнце протерло глазок в облаках, будто в замерзшем оконце, поглядеть, что там делается без него внизу, оно заметило крошечного, меньше лесного ореха, единственного на всю округу лягушонка. Тот был сам не свой и на себя не похож, но более – на обломок коры коричневого дерева. Да только не растут они в наших краях. Не растут.

Об этом не говорят...

Загодя до рассвета, лес полон детскими голосами. Они слышны не враз, но переливами, словно многие ручьи, что сорят холодными, весёлыми брызгами. Чудится, что они сдались, не выдержав натиска тех, кто позади и торопил их поскорее выглянуть, узнать, – что там, за пределами привычного уютного, но всё же сумрака. И теперь не сожалеют о том, хотя и опасливы, и научены, и придирчивы во всём, что касается правил жизни, пускай и с чужих слов.

Не испытывавшие ещё собственных неудач, в минуты, когда ответ за себя держать лишь самим, они куда как разборчивее к недругам, столь осмотрительны вблизи равнодушных, а уж с каким тщанием выбирают тогда они себе друзей!.. Вот она, крепость желания досмотреть до конца хотя отпущенное, продлить то, недолгое, чему и имени-то не подобрать, но одна лишь тайна из союза брэнного тела с вечной душой.

Так кто разбудил этих птах в эдакую рань? Кто позволил покинуть нагретый плюш одеял и отдалиться без спросу от мерного дыхания спящих родителей? – С холодком под ложечкой, что от чувства скоротечности бытия, от скользкого, зябкого его ручья, касающегося всякого, в ком отыщется хотя единая капля... не разума даже, – тут довольно и пополз-

новения к тому! Дабы он был...

Лес поутру полон птичьими голосами. Они так похожи на голоса детей, что бегают туда-сюда с раскинутыми на сторону руками, едва касаясь друг друга, дабы чувствовать, знать, – рядом всегда кто-то есть, и ты в этом мире никогда не бываешь один.

– А как же про то, что надо пестовать отдельное человеческое «я», и что люди приходят в этот мир одинокими?

– То самость. Гордыня, не иначе. Подле любого из нас есть... Ну, впрочем, хватит, лишний раз не к чему...

– Об этом не говорят?!

– По-крайней мере, не так часто, как делаем это мы.

Ни больше ни меньше

Выпроваженный хозяйкой проветриться, пока та вымоет полы, я бродил в одиночестве по аллеям парка, переворачивая тростью сухарики дубовых листьев и сбивая с дорожки тугие мячики каштанов. Кроме меня в парке было ещё двое таких же бедолаг, что разносили время жизни на ногах, да ещё не по собственной воле, а по обычаю наших хозяек наводить порядок в одно и то же время.

Мы не были представлены друг другу, но неизменно кланялись при встрече. Не знаю, что было этим двоим известно про мою персону, а я, со слов домовладелицы, знал, что это бездетный неженатый господин, взявший на воспитание сына своей покойной кузины. Живут скромно, но, судя по тому, что большую часть лета проводят на морском побережье, не бедствуют. Дядя, кажется дослужился до неких льгот, и имея доход с бумаг, обеспечивает и себя, и племянника, о воспитании которого печётся, не позволяя ему быть глупее, чем он есть.

Вот и теперь, заметив мирно беседующих родственников, я поторопился перейти на соседнюю аллею, дабы услышать, про что они говорят. Не из любопытства вовсе, но по причине вынужденного безделья.

– Осень нынче, не начавшись ещё толком, сбила с панталыку ласточек, вскружив им головы тем, чему не бывать, чего не видать, а чтобы уж вовсе наверняка – зряшность с напраслиной на будущность возводить. – Начал дядя издали.

– Это как бы небылицы рассказывать? – Живо заинтересовался юноша.

– Отчего же! ? Быль настоящую, правду правдивую, да только свою, а не ту, что для прочих припасена. У каждого ж она по его образу и подобию, каковы мысли, такова жизнь. – Склонив на бок голову, поправил воспитанника дядя.

– Ну, а ласточки чего? – Не унимался любознательный племянник.

– Ласточки-то? Птицы малые, ума в них по мере, – сколь отпущено, столь имеется, ни меньше, ни больше, добры без меры, хитрости не сыскать, от того-то и не дано им познать глубины осенних козней.

Вот и давай они метаться. Но не то, чтобы противу своей воли, а словно бы вовсе её минуя, позабывши, – кто они такие, каковы и зачем.

– Загадками ты мне, дядя, рассказываешь. Не пойму я чего-то...

– Да чего ж тут... ты только рассуди: лето у нас было холодным и дождливым, в реку не зайди, обморозишься. А осень?! Лисою ластится, так что тает округа под её теплом, а вода, кой после Ильина дня обыкновенно студёнее с каждым рассветом, будто купель на мелководье в самое июль-

ское пекло.

Вот и задумались теперь ласточки: то ли лететь им в тёплые страны, то ли повернулось всё вспять, и можно оставаться дома, ибо зимы в этот год не будет.

– Как это, не будет? – Испугался юноша. – А снежки с санками, а снеговик с оранжевым, обмороженным носом, а подарки на Рождество? И... дяденька, вы что-то не то говорите. Птицы не по теплу решаются лететь, а по тому, как день-то всё короче делается...

– Я и не спорю.

– Ну, так зачем тогда?...

– А, просто. Показалось, может быть. Мало ли. Видишь, вон божья коровка – неспелой ягодкой в спелой траве чудится. Так и тут.

Про что дальше разговор был, мне не узнать, каждый из нас пошёл в свою сторону. Я позабыл трогать каштаны в раздумье о том, как непросто показался мне теперь сей знакомец. Вместо того, чтобы на склоне лет наслаждаться и сторониться любых забот, кроме собственных, он растил паренька. Не себе в утешение, но для него самого, дабы человеком вырос. Ни больше ни меньше.

После дождя

Сразу после дождя, не дожидаясь, покуда насовсем стихнут его шаги, кружевной лист чистотела морщит аккуратный нос, брезгливо и надменно стряхивая с себя капли воды, ровно пыль.

Недавно лишившийся пушистых помпонов одуванчик, из невозможности боле себя украсить ничем, – тот не таков. Он держит бережно каждую из прозрачных горошин до последнего, сколь в состоянии ухватить разом, ну а коли когда и прольёт ненароком, – следом льёт ручьи уже из своих слёз. Не понять тогда, где из-за дождя, а где не выказанная его, цветочная печаль.

Хрен, раскинув вальяжно руки, перебросив на спину широкий шарф из плотной жатки, стоит, задравши нос к небу, не мешая последней, редкой уже воде, мочить щёки. Что ни говори, а крепок хрен: и умом, и в корнях своих уверен более, чем.

С эполетов листов кувшинки, по причине сродства интересов и идей, дождь не стекает, но лишь придаёт им ещё большего сияния и элегантности, пущей парадности и величия. Заслуженного, впрочем. Невзирая на то, что все золо-

чѐные ордена кувшинки давно уж спрятаны по кубышкам на дне пруда, для их сиятельства значимость в ином. В осанке, умении держать себя, во взгляде и приказах, что отдаются чаще безмолвно, одним намерением распорядиться своею властью они неизменно побуждают повиноваться.

И когда уже всё округ выказало своё мнение об дожде, сосна, что чересчур проста и наивна, не решилась ещё с выбором, – как себя вести и куда девать свалившуюся с небес благодать. Частью собранная в одолженные у паука авоськи, она продержится там некоторое время, но прочая, что трепещет на самых кончиках каждой из ворсинок ея жѐсткого меха, увы – обречена. И жаль обронить её сосне, да ветер, кой нагрянет в гости вот-вот, толкнѐт играючи под локоток, дабы чмокнуть, вдохнуть смолистого духа с запястья исподтишка, так и посыплются капельки на землю, спеша друг за дружкой.

Дождь. Как бы ни был долог, он короток, словно жизнь, в которой лишь до и после, сожаления о прекрасном прошлом, надежды на счастливое потом, а по всё прочее время – слѐзы и слѐзы, и ничего не остаѐтся за душой, кроме неё самой.

Больше ничего

Ветер, шалопай и бездельник, на уроке чистописания желал только гав ловить, да проказничать, ну, а в этот раз приотмился глядеть даже в окошко, на не замаранный ничьими письменами лист неба, и поставил на нём кляксу облака. Густо, смачно, так что забрызгал всё вокруг.

Небо, что доселе дремало мирно, вздрогнуло, вздохнуло и принялось приводить себя в порядок.

Перво-наперво включило оно воду, – по сухому-то ничего не оттереть. На землю, само собой, тут же закапало, под ногами прохожих захлюпало, у проезжих – зачавкало. От колёс фонтаны мути на стороны, от шагов – капли слякоти самим себе под колено, подолы в грязи.

У дворовых собак бока сосульками, пузо холодное, глаза несчастные. Коты – те похитрее, – кто куда, но повыше: лежат, щурятся брезгливо, мягкие лапки под себя, кончиком уха в такт каплям – супротив, шуршат хрящиком, мышам на зависть, людям в наставление.

А небу-то и дела нет, – все ему ровно посторонние, не ровня. Неудовольствий прочих не касается, знай, наряжается, в зеркала луж глядится, собою рядится.

На вымытую шейку надевает без счёту многие нити струй воды с продетыми на них аквамариновыми бусинами. Есть побольше, есть и помельче, но любая без изъяна, одна к одной. А что кроме небу надобно? – Чистая шея с чистой совестью, а больше и ничего.

Почтовая марка осени

Ранним вечером, когда на лбу сумерек проступили вены лишённых листвы ветвей, стало понятно, что уже совсем скоро можно будет отложить на будущий год надежды на не случившуюся истому июньских полдней и негу июльских вечеров.

По всё лето мне не удавалось дотерпеть до наступления темноты, и не заснуть. А посему, дабы разглядеть её, в новом, нынешнем её обличье, я решил выйти во двор, прогуляться перед сном, насладиться, ну, заодно, дать причину покрасоваться и ей. Всё лучше, чем самой с собой.

Стоило мне запереть луч света, что рвался выйти за мной во двор, как сова кинулась навстречу обнять, да устыдившись откровенного проявления чувства, в последний взмах собственного порыва, и порывом ветра повернула в сад, чтобы уже оттуда, сложив седые крыла, присматривать из-под попугайского оперения вишни за тем, кого так и не решилась открыто прижать к своей нежной груди.

Не отыскав взаимности, хотя и по вине собственной мнительности, сова принялась оглядывать темноту. Прежде прочих, заметила она загулявшего кота, что вознамерился взобраться на богато отделанное кресло пня и воззвать к округе

в поисках сочувствия известного рода. Днём-то его гоняли все, кому ни лень: и хозяева, и незнакомцы, коими кот считал всякого, кто не дал ему ни разу куриной косточки, и не налил ни капли молока.

Следом, на глаза сове попались три косули, что гонялись друг за дружкой и тьякали, ровно щенки, безо всякой опасности, что не говорило об совершенном их безрассудстве, но было верным знаком того, что волки, вслед за осенью, переменили свои квартиры на те, что окнами на закат²⁵.

Подглядела сова и за кабаном, что с обнажённым клыком, – для пущей важности и острастки самоуверенных, – вдыхал сладкий аромат поганки, прежде чем пустить её в дело.

– Надо же, и ведь ничего ему за это не будет...²⁶ – Ухмыльнулась про себя сова, что, казалось, позабыла и про человека, и про своё робкое, тщательно, да тщетно скрываемое от себя самой желание оказаться с ним на короткой ноге.

Впрочем... Летучую мышь, распорядившуюся по-своему свободной от зарослей частью неба, мы разглядели одновременно. Я вздрогнул, а сова суровым взглядом проводила

²⁵ годовичные миграции волков имеют тенденцию перемещения по часовой стрелке, с востока на запад

²⁶ кабаны едят ядовитые грибы без ущерба для здоровья

мышь, ибо та, по причине спешки или неловкости, опрокинула стоявшую где-то высоко непроливайку, полную синими чернилами, и небо начало скоро темнеть.

Кем почудилась сове летучая мышь, кроме как помехой, никому невдомёк. Она ж была не вполне ещё сова, так – лётный птенец четырёх месяцев от роду. Ну, а летучая мышь, как по мне, – точь в точь почтовая марка осени со сквозным штемпелем звёзд поверх...

В конце лета

В конце лета шмелю хватало завода лишь на один полёт, от цветка до цветка. Недавний зной, кой бодрил, побуждая покорять всех красавиц в цвету, как-то скоро сошёл не то, чтобы на нет, – он истончился, обветшал, как вельветовый пиджак, что казался хорош, но утерятил прежний вид, и протёрся, будто враз: кое-где на воротнике, а особенно – на локтях.

Под штукатуркой предрассветного неба скрывались все краски дня: юношеский румянец восхода; роскошный полдень с пышным жабо облаков; очевидный гнев вечерней зари...

Вообще же, как бы не разнились дни промеж собою, они походят один на другой, ибо под их опекой столь всего несходного, что на себя уж не остаётся ни сил, ни срока. Слишком мало отпущено дню.

Понимая про то лучше прочих, горчичным семечком соловей снуёт по саду, собирая вещи в дорогу. Недостаточно ему того малого, а просить – нет толку, вот и спешит переждать долгие ночи в дальних странах.

Подле ветшающего забора – земляная груша²⁷ растрёпкой, моргает сонно рыжими ресницами. Виной тому – повеся ливень, что заявился без приглашения ввечеру и не давал уснуть, хотя было ему постелено, как обыкновенно для незваных гостей, – на полу. Цветок растерян и сердит на птицу, к которой привязан, за чьей суетой наблюдает с рассвета до заката, изо дня в день.

...Ветер вплетает в косы солнца ещё не оборванную им листву. Шепчет на ушко округе непристойности, а та, не смущаясь нисколько, принимается снимать с себя всё, так что вскоре останется совершенно нага.

²⁷ топинамбур

Королева

Небо роняло лепестки. То – дождь. Писанные акварелью, длинные полупрозрачные листочки завивались слегка, словно кудри увядающей хризантемы, что возложена и позабыта на гранитной скамье воспоминаний...

– Да ты только попробуй! Не получится – сделаешь, как захочешь!

– Ба! Да глупо же!

– Там увидишь. – Загадочно ответила бабушка.

С недовольным лицом я полощу кисточку в воде.

– Отожми немного о край стаканчика. – Советует бабушка.

– А как?

– Проведи по ободку, сгони лишнее.

– Там всё лишнее! – Злюсь я.

– Не торопись раньше времени. – Покладисто успокаивает мои не по-детски расшалившиеся нервы бабушка. – Так, молодец, а теперь рисуй, как обычно.

– Чем!? Чем я нарисую!?? Там же одна вода!!! – Взревел я, потрясая рукой с зажатой в ней кисточкой.

– Ты закапаешь скатерть, стены и занавески. – Тихо и уко-

ризенно посетовала бабушка. – И если скатерть с занавесками я выстираю, то стены придётся белить заново. Ты же знаешь, дедушка непорядка терпеть не станет. А я уже не могу управляться по хозяйству, как раньше. Силы не те.

Мне делается жаль бабушку до слёз. Я кидаюсь обнять её, но она, по обыкновению, протестует:

– Сперва рисуй! Не люблю этих телячьих нежностей.

Я послушно обмакиваю кисточку в воду, снова выжимаю лишнюю и оглянувшись на бабушку, спрашиваю, дабы удостовериться на всякий случай, что всё делаю правильно:

– Так-таки и рисовать?

Бабушка кивает, улыбаясь одними морщинками, что собравшись щепотью лучиков вокруг глаз, сообщили им некое сияние, от которого сделалось щекотно в носу, как от грушовки.

– Ты такая красавица! – Восхищённо восклицаю я, но бабушка сердится притворно и торопит:

– Не отвлекайся, рисуй, дамский угодник! Мне ещё обед готовить.

И я принимаюсь за дело. Поры бумажного листа, наполнившись вместо краски водой, слегка набухают, а подсыхая

– коробятся. Я с удивлением наблюдаю за тем, как прорисованные водой лепестки обретают очертания. Будто из ниоткуда, из ничего, из простой мокрой капли появляется не грубая пародия на цветок, а хризантема. Сколько б я не усердствовал, не жалея белой краски, до сих пор, выходило топорно и отчасти нелепо. А этот цветок бы очевидно только что жив, но увядал прямо у меня на глазах, как любое сорванное зря растение.

Явно довольная результатом, бабушка с деланным равнодушием зевнула, прикрыв застиранной ладошкой голубоватые губы, и подобрав гребешком волосы, ушла, бросив на ходу:

– Я в кухню.

Вечером, накрывая чай после ужина, бабушка сообщила родителям:

– Ваш сын нынче меня удивил. У него явный талант. – И показала им рисунок цветка.

Я сидел, розовый от смущения и удовольствия, ровно именинник, выслушивая незаслуженные похвалы, да время от времени растерянно оглядывался на бабушку, что улыбалась ласково и счастливо. Она была низенькой, полной, утомлённой несчастиями, выпавшими на её долю, но гребень, что сдерживал своеволие седых кудрей бабушки, тем

не менее чудился мне короной. Я видел точно такую же в книжках про королев.

Нежданный друг

Чем разнятся сказка и быль? -

С былью знают, да не все, а в сказку верят, да не всяк.

Автор

Белоголовый орлан гонял ласточек и было не понять – в шутку он это или всерьёз. Когда, казалось, он уже готов подхватить одну из птиц, то осаживал себя и взмывал в небо. Ежели рассудить, что там ему та ласточка, да ещё первогодок, – горсть перьев и ничего больше. Мать с отцом спуют подле неё после того, как орлан усмехаясь и воспарив, выжидает свысока²⁸.

Родители ласточки немолоды, и этот птенец – единственное дитя в этом году, может, и вовсе – последыш. Вот и охоложивают его, голубят, загораживают собой от поправшего последнюю совесть орлана. Да тому-то, что перестарки те, что их птенец – так, на раз клюнуть, если только забавы ради.

Не стерпела мать ласточка, кинулась на орлана, да позвала за собой на дальнее облако – поговорить не как птица с птицей, а как мать с обидчиком любимого детища.

– И чего это ты, ястреб²⁹ смелый, да вольный, вздумал над моей кровинушкой потешаться? До смертельного ужаса дошёл ребёнок моего последнего. И губить не губишь, а от жизни уже пригубил немало.– Спросила она орлана, а тот, внявши отваге и любви материнской, не стал куражится, ответил, как есть:

– Права ты, соседушка, сыт я и весел, и тебя ценю за смелость с честностью, не лукавишь, как прочие. Сколь лет мы рядышком деток высиживали, растили и в жизнь большую провожали, радовались. У меня ещё будет случай наглядеться-нарадоваться, а у тебя-то уже вышел срок³⁰, так неужто я истрачу душу невинную зазря, не помилую? Каков бы я оказался перед собой? Не тиран я и не деспот, попираю свою волею чужие желания. Да только вижу – слаб твой птенец. Что будешь делать, коли не перенесёт дороги, и не он тебе глаза закроет, а напротив? Вот и разгоняю я его кровь, бужу в нём жажду к жизни. Квёлому в дальний путь отправляться не след.

Закручинилась птица ласточка, кивнула согласно, махнула крылышком, да сказала нежданному другу своему нечто. Впрочем, слов было не разобрать. Но то, что от сердца, льнёт к душе прежде разговора, неведомо для сторонних. Не к чему им чужого касаться, довольно с них и своего.

²⁹ белоголовый орлан – хищная птица семейства ястребиных

³⁰ белоголовый орлан живёт 15-20 лет, ласточки максимум – 8 лет

Тагетес

Тагес, появившийся из борозды внук Юпитера,
истолковавший людям учение об угадывании воли богов.
Мифология этрусков

Накануне первого сентября я неизменно волновался, предвкушая встречу с одноклассниками, по которым, как оказывалось в конце лета, сильно соскучился.

По-правде говоря, в течение всего учебного года соученики не особо замечали меня и считали зубрилой. По причине неловкости не принимали в игры на переменках, и я всегда оказывался без пары, нечётным, пятым колесом их весёлой ребячьей телеги, что катилась по ухабам детства с гиканьем, хохотом и неизбежными глупостями, что повсегда в попутчиках у новых жителей белого, противного чёрному, света. Впрочем, это не уменьшало моего интереса к однокашникам. Напротив, я наблюдал за ними со стороны и сопереживал, подчас, жарче самих участников беготни и проказ.

В первый школьный день ребята были те же самые и совершенно иные. Стриженные мокрые чёлки не доставали до выгоревших на солнце бровей. Прошлогодние штаны одних не дотягивались до сандалет, так что были видны корич-

невые лодыжки, покрытые шоколадной корочкой царапин. У других, чьи родители не поскупились, дело было не лучше. Манжеты купленных «на вырост» брюк набивались при ходьбе шелухой листьев клёна, что росли у порога школы.

А девчонки... Девочки! Ну, что о них говорить, если в ту пору про сокласниц было стыдно даже думать, не то – пялиться, сличая с тем, как они похорошели в сравнении с прошлым учебным годом.

Однако, был ещё один, самый главный человек, встреча с которым волновала куда больше, чем со сверстниками. Я не об учителях, хотя среди педагогов и были те, уроки которых пошли впрок. В этот день я ждал приезда бабушки, и всё утро бегал к окну кухни, из которого была видно остановку трамвая.

Когда, выгрузив пассажиров, трогался очередной вагон, а я не находил бабушки среди тех, кто собирался перейти рельсы на нашу сторону, то очень расстраивался.

– Ты ещё не одет? Опоздаешь! – Возмущалась мать, но мне было не до того, я уже видел, как с сумкой в одной руке и букетом в другой бабушка тихонько спускается по ступеням трамвая.

Зная об её привычке заглядывать к нам в окошко под козырьком ладони, я ждал той перемены в её глазах, когда она

узнавала меня через стекло, а после бежал, сломя голову, к входной двери, чтобы впустить её, как мягкое белое облачко, что придаёт небу особенную прелесть.

– Бабуля! – Кидался я ей на шею, а она, хотя и не противилась особо, тем не менее торопилась занять мои руки букетом и открыткой, писанным её крупным, учительским почерком.

– Ты меня подождёшь? – Почти умолял я бабушку. – У нас только линейка, первый урок и отпустят.

– Дедушка дома один... – Неуверенно отказывалась она, но я уже понимал, что останется, и мы пообедаем вместе, а после сходим в парк, где будем собирать семена созревших цветов, чей дурманящий аромат помню до сих пор.

Мне стыдно, что я позабыл название этих цветов, его будто выдуло сквозняком времени из головы. Я бродил мимо клумб в поисках знакомого запаха, и не находил его. Воздух теперь полон банальным благоуханием розового масла, корицы и миндаля, которых не было в моём детстве. И только сегодня, более полувека спустя, я вспомнил название тех уютных цветов, что напоминают мне бабушку. Это бархатцы, тагетес³¹, род трав сложноцветных семейства астровых,

³¹ Tagétes (лат.) – название бархатцев, присвоенное цветку Карлом Линнеем в 1753 году

родом из Мексики, что обильно цветут до глубокой осени.

Последний вечер лета

Хотя было уже довольно темно, но ещё рано, чтобы ложиться спать. Не примечательные ничем при свете дня строения, казались театральной декорацией, не смотря на то, что их обитатели никогда не бывали в театрах, почитая это ненужным баловством и тратой времени, которое годится для какой-либо насущной работы, что поможет пережить и непогодь осени, и грядущую зиму. Те двое, чья беседа оказалась подслушана не нарочно, тоже были теперь заняты, и укладывали в поленницу дрова.

– Заметил, чуть только намекает мироколица³² на грядущую прохладу, в сад прилетает синица-зимняя птица. Тиха, скромна, хлопотлива по чину. Перебирает ветви дерев, будто стопки белья в шкапу. Проверяет, – где какая личинка припрятана монеткой, где наколотый на сосновую ветку жучок обветривается сухариком.

– Всё на чёрный день?

– На светлый, снежный, морозный. Вот что убережёт птицу озябнуть до смерти? – стылая, будто фарфоровая куколка, добытая из накрепко, но не навечно запертого туюска коры; засахарившаяся инеем карамель ягоды в хрустальной ото льда вазочке соцветия; соседство с сердобольным, да жа-

³² погода

лостливым, кой не только об себе заботу имеет, но и о прочих. Насыпет он горсть крошек со стола, коту не выпустит до времени на порог, так всё окажется съеденным задолго до того, как присыплет крошки снежной крупкой. Голод лучше прочих умеет поторопить.

– А чего синица к человеку-то ластится? Угодничает?

– Тут другое. Льнёт она не по бедности, благородно. На попечение просится с достоинством. Ну, а уж коли примет кто, должен держать слово до самой весны.

– Не может, значит, без человека?

– Так, в ответе он за тех, которых согнал с хорошего места, пусть и не по злобЕ, не по подлости, а вышло так по жизни. Лес вырубил – дом построил, поляну подле скошил для картохи с капустой, болотце засыпал и живёт себе припеваючи. А то, что в том болоте караси не жились посреди грязи, черепахи деток растили, лягушки с комарами управлялись, ему и дела нет. Человеку всё мешает: и комариный писк, и лягушачье пение.

– Караси – это хорошо... – Слышится мечтательное.

– То-то и оно. – Раздаётся в ответ.

Луна, неслучайный свидетель всех разговоров на обратной стороне дня, выглядывала из-за занавеса сумерек, дабы не пропустить ни словечка и утирала нос кружевным платоч-

ком облака. Скоро её выход, волнуется, ликом бледна. Впрочем, как всякий раз и во все века.

В неумелых руках

– Что ты любил делать в детстве больше всего? В салочки, в войну или жечь дымовухи?

– Играть? В войну, конечно, а вот делать. Тут и думать нечего – точить карандаши, конечно! У деда была бакелитовая точилка, немного похожая на бабушкину мясорубку из-за ручки. Я воображал, что она похожа на пчёлку, – сверху такие усики-педальки.

Спрячешься, бывало, под столом, расшатаешь грифель, как молочный зуб, а то и вовсе – постучишь по нему молоточком или дверью придавишь до хруста. Ну – бежишь после к деду, просишь разрешения поточить. Дед требует показать карандаш, чтобы не зря машинку-то гонять. Рассмотрит, ухмыльнётся, коли заметит продавленные дверью следы, но молча поднимет деревянное жалюзи шкапчика, где на пропахшей дёгтем и папиросами полке хранился этот хитрый, заветный инструмент, и скажет:

– Бери.

Но как потянешь руки, чтобы взять, дед и приказывает строго:

– Только при мне! А то знаю я вас, почнёте пальцы совать или ещё чего.

Под дедовым суровым взором нажимал я те самые усики-педальки, дабы просунуть карандаш и зажать, правда силёнок не хватало, чтобы выходило с первого раза! Крутишь после ручку, стараешься, высунув язык для верности, поджидаешь с блаженной улыбкой, когда можно будет поглядеть на деревянную ровную стружку, что копится в специальном ящичке. И давно уже не нужно, и отточено, а только нет мочи остановиться, – стружка так сладко пахнет.

– Здорово!

– А то! Только мне мало досталось за покрутить.

– Это ещё почему?

– Я самый младший из внуков. До меня столько карандашей было заточено, не перечесть: и по делу, и просто ради самого верчения. Попортили вещицу. Приходилось после, когда и впрямь было надо, приставать ко взрослым, чтобы помогли заточить карандашик. У самого плохо выходило, а ножиком не позволяли.

Всяк точил, как умел. Бабушка срезала кухонным ножиком над раковиной, отхватывая помногу и от грифеля, и от самой деревяшки. Рачительная мать доставала использованное бритвенное лезвие, которым порола подкладку или другое какое шитьё, и счищала карандашик на газетку, аккуратным кругом, так что носик аспидной палочки казался едва ли не иголочкой.

Ловчее всех выходило у отца. Вычерчивая у кульмана по шесть-семь листов за смену, ему приходилось тратить не один карандаш, от того-то и точил он всегда сноровисто, парой-тройкой неуловимых движений, наискось, оставляя стержню довольно упора в нужных местах, так что карандаш исписывался не враз.

Но стоило взяться за дело самому, у меня выходило плохо, хуже всех. И спрятав вконец испорченные карандаши в дальний ящик стола, или рассовав их по корешкам книг, я принимался просить купить мне новые.

– Да только что, недавно открывали коробку! – Удивлялись взрослые, но покупали, конечно, и новые карандаши неизбежно постигла участь прежних, в моих неумелых руках.

Что любили мы в детстве? Глупый вопрос. Да, всё, наверное, просто не сумели этого вовремя понять.

Чёрное

Чёрная гусеница, волнуясь телом и душой, торопилась перейти дорогу.

Я тоже спешил и едва не наступил на неё. – Ой! Красавица, вы куда это? – Спросил я гусеницу, и та, не чураясь беседы с незнакомцем, подробно и обстоятельно растолковала, чем намерена заняться.

– Мы с сёстрами сироты, подыскиваем на зиму жильё. Мать бросила нас в кустах крапивы и улетела с подругами на юг³³, поэтому мы тут управляемся сами.

– Надо же... – Посочувствовал я, сокрушаясь столь неприговорно, что гусеница постаралась успокоить:

– Не переживайте вы так, мы привычные, да и не первые, и не последние, у вас у людей, я слышала, тоже бывает эдак-то.

– Бывает. – Согласился я, и убедившись, что гусеница не нуждается покуда ни в моей помощи, ни во внимании, порешил дольше не задерживаться и откланялся.

Я шёл, дабы решить своё дело, но раздумывал вовсе не об нём, но о схожести всего на свете, о сиротстве вынужденном или навязанном, об ответственности, наконец.

Застывшая на излёте волна пригорка была довольно вы-

³³ описано поведение бабочки Адмирал, которая откладывает яйца в северных регионах на листьях крапивы или хмеля, а зимует в южных областях

сока, а клевер, что обрамлял его, чудился морской пеной. Прикрыв глаза, я вдыхал тот призрачный, столь желанный солёный воздух, что пускай теперь и не здесь, ну так есть же он где-нибудь, в конце концов.

Едва ли не сгоряча, в порыве, я тронул пену цветов рукой, дабы ощутить его блаженное, нежное и восхитительное таяние под рукой, как пальцы мои уловили некий трепет, что принудил немедля открыть глаза.

На одном из цветущих бутонов клевера сидела пчела. Я оторвал её от занятий, и теперь она пыталась овладеть собой, вырваться из безвременья смятения.

Пчёлка взирала на меня с надеждой, кажется даже со слезами на глазах. Ей хотелось досмотреть свою жизнь до самого конца, а не обрывать на самом интересном месте, вдобавок причинив неприятность тому, кто нечаянно оказался рядом.

Я ловко отдернул руку, и прикоснувшись к шляпе, поклонился пчеле:

– Прошу прощения! – И продолжил свой путь...

– Чёрная гусеница перешла мне дорогу...

– Ну так не чёрная же кошка!

– А что вы имеете против них?..

Так и живём...

– Бывал ли ты озабочен тем, откуда взялись на небе звёзды, луна или сама вселенная?

– Отчего же, само собой. Каждый рассуждает про это в некий час, когда наскучит ему думать о мирском, об своём ничтожном месте посреди прочих, о слякоти земной и житейской, вот и отторгает он от себя всё, о котором и думать забыл, ибо свыкся. Особится³⁴ с чувством, доказует другим непустячность сосуществования подлде.

– Для чего?

– Так чтобы чище казаться. И себе, и прочим. Как бы – не от мира сего.

– Неумно то, все одной миррой-то мазаны.

– Глупо, нет ли, кто помазан, а кого и миновала чаша сия, а такое сплошь и рядом. Вот, к примеру, почудилось мне однажды про мироздание нечто... Будто гружёная лодка, прочертив килем прибрежный песок, сплаву въехала на мокрую траву, и из плетёной корзины, что стояла на её носу выпали веера перловиц³⁵ и раскрылись сами собой, без принуждения, либо вострого серпа. Высыпался мелкий и крупный жемчуг, что таился в них, взбежал по радуге на небеса,

³⁴ обособляться

³⁵ пресноводные моллюски класса двустворчатых, раковина используется для изготовления перламутровых пуговиц

где, собравшись многими созвездиями, окутал сеткой кудри небосвода...

– Зачем это?

– А чтобы не растрепались!

– Да нет! Почто сочинять такие глупости?

– Ты, верно, ведаешь, как всё было на самом деле, от того и недоволен?

– Откуда бы мне знать про эдакое....

– Ну, так и не мешайся! Может оно и не так, но выбросило на отмель неба порывом ветра рыбью чешую облаков, а следом...

У всякого свой след, но то славно, коли есть у людей охота и причина, думать о чём-либо, кроме хлеба насущного. Ведь не хлебом единым!..

Истины... прописи... Так и живём.